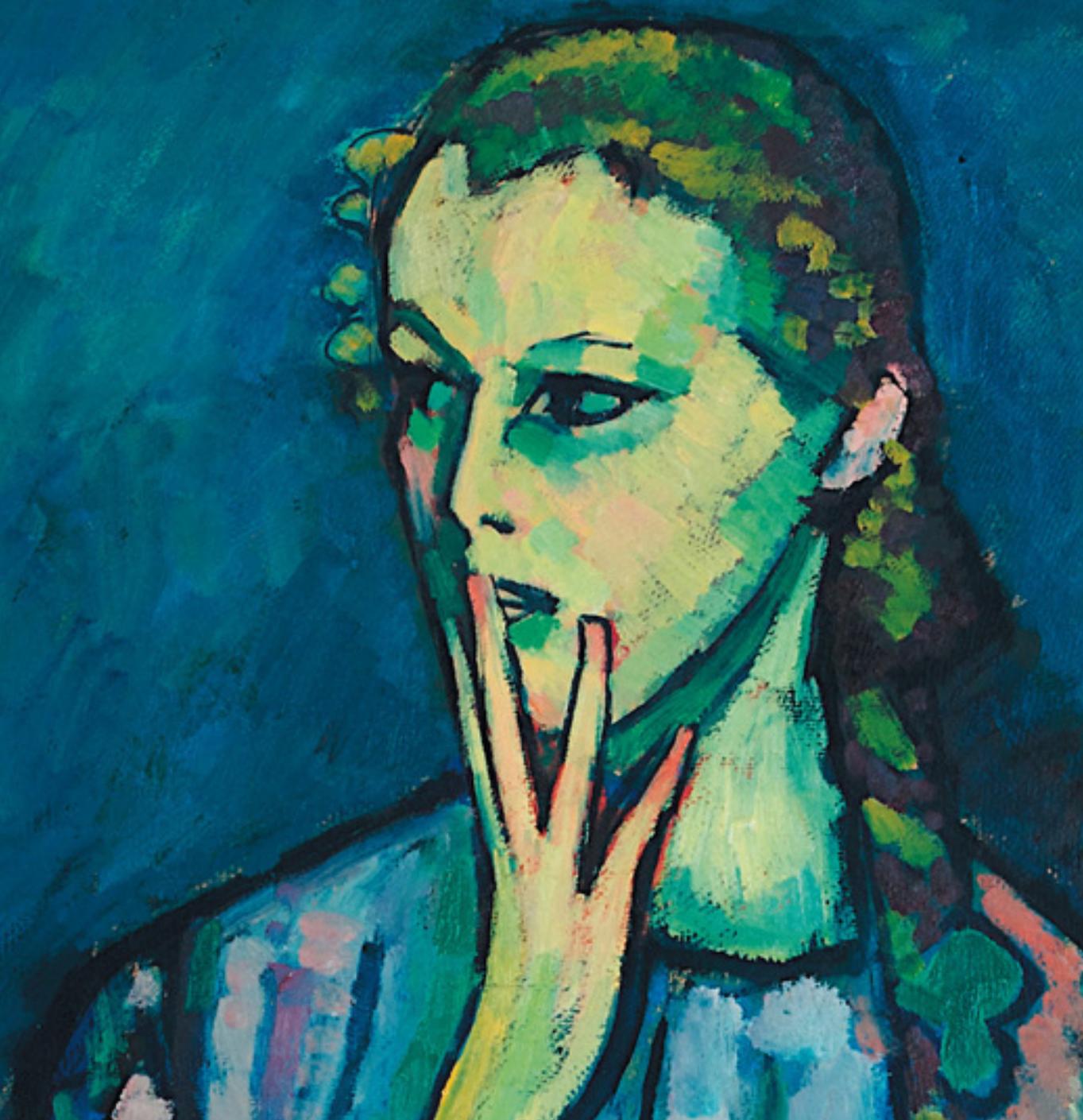


COGITO
CORPUS
QUI

МАРИ КАРДИНАЛЬ

Слова, которые исцеляют



Мари Кардиналь

Слова, которые исцеляют

«Когито-Центр»

1975

Кардиналь М.

Слова, которые исцеляют / М. Кардиналь — «Когито-Центр»,
1975

«Слова, которые исцеляют» (1975) – одна из самых известных книг Мари Кардиналь – написана на основе ее собственного опыта в психоанализе. Изображен тот период и те условия, что привели автора к психической нестабильности, а затем к постепенному выздоровлению. Сюжет вращается вокруг женщины, переживающей эмоциональный срыв, порожденный ее отношениями с матерью. Героиня проходит длительный курс психоанализа. Постепенно она понимает, что была не в состоянии справиться с жесткими рамками кодекса поведения патриархальной системы, регулирующими ее жизнь с детства. С помощью терапии и путем изложения в письменном виде всех своих эмоций и переживаний рассказчица начинает распутывать хаос в своем прошлом и получает возможность «переписать» свою жизнь.

© Кардиналь М., 1975

© Когито-Центр, 1975

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| I | 6 |
| II | 19 |
| III | 23 |
| IV | 29 |
| V | 37 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 40 |

Мари Кардиналь

Слова, которые исцеляют

* * *

В оформлении обложки использован фрагмент работы Алексея фон Явленски «Портрет молодой девушки» (1909)

© Когито-Центр, 2014 ISBN 978-5-89353-425-2

Доктору, который помог мне родиться

I

Глухой переулок был плохо вымошен камнем, полон ухабов и неровностей, по краям тянулись узкие, местами побитые тротуары. Подобно потрескавшемуся пальцу, переулок проникал между одно-двухэтажными частными домами, прижимавшимися друг к другу, и в конце концов упирался в два забора, покрытых убогой зеленью.

Окна не выдавали ничего сколько-нибудь сокровенного, в них не было никакого движения. Казалось, что ты в провинции, и все же это был Париж, четырнадцатый округ. Здесь не было нищеты, как не было и богатства, это была жизнь мелкой буржуазии, скрывающей свои сбережения в обивке диванов, щербатых ставнях, ржавых желобах и облезлых стенах с облупившейся штукатуркой. Ворота, однако, были солидными, а окна на первых этажах – защищены прочными решетками.

Этот тихий закоулок насчитывал, наверно, лет пятьдесят, ибо сохранял в причудливых строениях следы стиля модерн. Кто обитал в них? Судя по некоторым витражам, дверным молоточкам, сохранившимся орнаментам, можно было предположить, что за этими фасадами жили вышедшие на пенсию люди искусства, завершившие свою карьеру живописцы, престарелые певицы, бывшие мастера сцены.

На протяжении семи лет три раза в неделю я проходила по этому переулку до конца, до забора слева. Я знаю, как здесь идет дождь, как прячутся от холода жильцы.

Я знаю, что летом здесь устанавливается почти сельский образ жизни с вазонами герани и спящими на солнце кошками. Знаю, как выглядит глухой переулок и при свете дня, и ночью. Знаю, что он всегда безлюден. Он кажется пустынным даже тогда, когда какой-нибудь прохожий спешит к своим воротам или шофер выводит свой автомобиль из гаража.

Теперь мне трудно вспомнить, который был час, когда я впервые переступила порог этого дома. Заметила ли я давно не ухоженные растения в садике? Почувствовала ли гальку на узкой мостовой? Пересчитала ли семь ступенек на крыльце? Успела ли разглядеть стену из жернового камня, пока ждала, чтобы открылась входная дверь?

Не думаю.

Зато я увидела смуглого человечка, который протягивал мне руку. Я заметила, что он был худощав, прилично одет и весьма сдержан. Я увидела его черные глаза, непроницаемые, как матовое стекло. Я приняла его предложение подождать в комнате, которую он мне показал, раздвинув шторы. Это была гостиная в стиле Генриха II, где мебель – стол, стулья, буфет, сервант – занимала почти все пространство, демонстрируя вновь прибывшему барельефы в виде гномов и плюща, спиралевидные колонны из резного дерева, медные диски и китайские фарфоровые вазы. Эта уродливость не имела для меня никакого значения. Для меня была важна лишь тишина. Я находилась в настороженном и напряженном ожидании, пока не услышала справа от штор стук открывающейся двойной двери, затем звук шагов двух человек и легкий шорох, после чего входная дверь открылась и голос пробормотал: «До свидания, доктор». Ответа не последовало, дверь закрылась. И снова легкие шаги к первой двери, короткий скрип паркета под ковром, свидетельствующий о том, что дверь осталась открытой, затем – непонятное движение. Наконец шторы раздвинулись, и человечек пригласил меня в свой кабинет.

Вот я сижу на стуле перед письменным столом. Человек погружен в черное кресло, так что я вынуждена сидеть боком, чтобы разглядеть его. На стене передо мной полки, набитые книгами, к которым приставлена кушетка коричневого цвета с валиком и подушечкой. Доктор явно ждет, чтобы я заговорила.

– Доктор, я уже долгое время больна. Я сбежала из клиники, чтобы встретиться с вами. У меня больше нет сил жить.

Глазами он дает мне понять, что слушает внимательно и что я должна продолжать.

Находясь в прострации, будучи подавленной, отрешенной, замкнутой в своем собственном мире, как я могу найти слова, которые передались бы от меня к нему? Как построить мост, который соединил бы возбуждение и спокойствие, свет и мрак, простирившийся за каналом, за рекой, полной нечистот, за грозной лавиной страха, которая отдаляла доктора и всех других людей от меня?

Я умела рассказывать истории и даже анекдоты. Но то, что воцарилось во мне, то самое «Нечто», тот стержень моего существа, герметически закрытый, полный движущегося мрака, – как мне рассказать об этом? Это была густая, плотная сущность, пронизанная в то же время спазмами, одышкой и медленными движениями, подобными движениям на морских глубинах. Глаза мои перестали быть «окнами». И хотя они были открыты, мне казалось, что они закрыты и что это – всего лишь два глазных яблока.

Я стыдилась происходившего во мне, этого внутреннего хаоса и возбуждения, и никто не должен был заглядывать туда, никто не должен был об этом знать, даже доктор. Я стыдилась своего безумия. Мне казалось, что любая форма жизни предпочтительнее безумия. Я неустанно плавала в весьма опасных водах, полных течений, каскадов, водоворотов и острых осколков, и, несмотря на это, всегда делала вид, что плыву по озеру тихо, как лебедь. Чтобы полностью спрятаться, я затыкала все свои «выходы»: глаза, нос, уши, рот, влагалище, задний проход, поры, уретру. Чтобы как можно плотнее закрыть эти отверстия, тело предоставило мне много «секреторных возможностей». Некоторые виды влаги сгущались до такой степени, что останавливались в своем движении, образуя плотный блок, в то время как другие, напротив, текли безостановочно, также препятствуя таким образом проникновению чего-либо внутрь.

– Вы можете рассказать мне о лечении, которое вам прописали? О специалистах, которые вас консультировали?

– Да.

Об этом говорить я могла. Могла перечислять докторов и медикаменты, могла говорить о крови, о ее приятном и теплом присутствии меж моими бедрами вот уже в течение трех лет, о двух выскабливаниях, сделанных мне, чтобы остановить кровотечение.

Это кровотечение, проявляющееся в разной степени, было мне хорошо знакомо. Эта аномалия не была опасной, потому что ее можно было увидеть, измерить, проанализировать. Мне нравилось превращать ее в главный предмет и причину моей болезни. Поистине как могут не пугать эти постоянные кровотечения? Какая женщина не сошла бы с ума от страха, видя, что таким образом из нее вытекает жизненная сила? Как можно не мучиться от постоянного наблюдения этого интимного, вызывающего стеснение и стыд, открытого источника? Как не считать это кровотечение знаком того, что я не могла больше жить среди других? Я запачкала столько кресел, стульев, диванов, кушеток, столько ковров и кроватей! Я оставила столько луж, лужиц, капель и капелек в столь многих залах, гостиных, приемных, коридорах, бассейнах, автобусах и других местах! Я больше не могла выходить.

Как не сказать о тех радостных днях, когда, казалось, кровотечение останавливалось, оно обнаруживало себя лишь следами темно-коричневого, потом охристого, потом желтоватого цвета. В те дни я не болела, могла двигаться, видеть, выйти из своей скорлупы. Кровь в конце концов уходила свертываться в свой маленький мешочек и дремала там целых двадцать три дня, как раньше. В надежде, что будет именно так, я старалась делать как можно меньше усилий. Я двигалась с большой осторожностью, не брала на руки детей, не таскала с базара корзины, не стояла слишком подолгу у кухонной плиты, не стирала белье, не мыла окна: делала все медленно, спокойно, чтобы исчезла кровь, чтобы прекратились любые выделения. Полулежа я что-то вязала спицами, одновременно присматривая за своими тремя детьми. Тайком, определенным движением руки, которое привычка сделала очень быстрым и искусным, я все время следила за своим состоянием. Я умудрялась делать это в любом положении так, чтобы никто не заметил. В зависимости от обстоятельств моя рука пробиралась спереди меж жест-

ких и кудрявых волосинок, пока не находила теплое, мягкое и влажное местечко гениталий, затем, разумеется, отдергивалась, или же рука легко проскальзывала между ягодицей и бедром и тут же погружалась в глубокое отверстие, после чего быстро отодвигалась. Я не сразу смотрела на кончики пальцев – готовила себе сюрприз. А если ничего нет? Иногда это было что-то столь незначительное, что приходилось довольно сильно скрести ногтем большого пальца кожу на указательном и среднем пальцах, чтобы заметить чуть окрашенное выделение. Тогда я чувствовала себя счастливой: «Если больше не сделаю ни одного движения, то это прекратится полностью». Я цепенела, будто спала, изо всех сил надеясь снова стать нормальной, быть как все. Я бесконечно занималась хорошо известными женщинам подсчетами: «Если месячные заканчиваются сегодня, то следующие будут... сейчас посмотрим, в этом месяце тридцать или тридцать один день?». Я предавалась расчетам, радости, мечтам, пока не вздрагивала от еще скрытой, мягкой, но уже осязаемой, энергичной нежности сгустка, который приносил вслед за собой кровь. Густая спешащая лава, падающая из кратера, проникающая во все отверстия, струящаяся, теплая. И сердце опять начинало стучать, и возвращалась тревога, и исчезала надежда – я вновь бежала в ванную комнату. А кровь уже успевала пробежать по коленям и дальше по ногам каплями красивого ярко-красного цвета. Столько лет, прожитых в бесконечном кошмаре ожидания этой крови!

Меня осматривало множество гинекологов. Я отлично знала, как надлежало придвинуться к краю гинекологического кресла, но прежде водрузить свои раздвинутые ноги на высокие опоры. Открытые внутренности вверялись теплу лампы, глазам доктора, пальцам в тонких резиновых перчатках, красивым и страшным стальным инструментам. Я закрывала глаза или упорно смотрела в потолок, в то время как внутри себя я чувствовала ловкие прикосновения пальцев, производивших совсем не деликатные изыскания. Насилие!

Все это оправдывало, как мне казалось, мою собственную неуравновешенность, делая ее более приемлемой, менее сомнительной. Ну разве можно отправить в психушку женщину лишь потому, что она кровоточит, и потому, что это приводит ее в ужас? И пока я говорила только о крови, только она одна и была видна, и не было видно того, что за ней скрывается.

Итак, я сидела рядом с доктором в тишине дома в стиле барокко, в конце глухого переулка, молчаливая, покорная и любезная – такая, какой должна была быть кровь в полости моего живота. Я еще не знала, что это место и этот человек станут отправной точкой всего, что случится затем в моей жизни.

Я охотно рассказывала о своем визите несколько недель назад к одному известному профессору, врачу-гинекологу.

Специалист, одетый в короткий белый халат и брюки в американском стиле, засунул свою правую руку внутрь меня, а левой начал давить на мой живот, в одном месте, в другом, посередине, толкая мои кишки вниз, туда, где орудовали его одетые в перчатки пальцы, примерно так, как это делает хозяйка, чтобы вытащить из цыпленка потроха одним движением. Я ожидала, что мои внутренности начнут издавать слабые звуки, которые обычно появляются при хождении по грязи: «плюх», «шлеп», «хлюп». Потолок был белым, как «белая ложь» – ложь во спасение. Безгранично белый, настолько, что в нем полностью исчезали отражения больных деформированных влагалищ, девственно белый, способный поглощать мерзкие образы моего воображения.

После тщательного осмотра профессор встал, снял перчатку и, в то время как я продолжала лежать в кресле с раздвинутыми ногами, заявил: «Пока что у вас нет ничего, кроме фиброматоза матки. Я советую вам избавиться от нее, и как можно быстрее. Если нет, то у вас будут серьезные проблемы, и гораздо раньше, чем вы думаете. Давайте уточним дату операции. Увидите, после этого все будет хорошо. Не будем откладывать, я прооперирую вас на следующей неделе. Посмотрим, какой день вас больше устраивает? Понедельник или вторник?» Я

сказала: «Вторник». Затем он указал, какие обследования мне следует пройти, чтобы можно было лечь в клинику. Я отдала ему деньги, поблагодарила и ушла.

Мне было около тридцати лет, и мне не хотелось оставаться без того мешочка и без тех двух шариков. Я не хотела, чтобы текла кровь, но в то же время я хотела сохранить этот узелок в своем животе. Нечто настойчиво возмущалось в моей голове. Я быстро спустилась по мраморной лестнице с колоннами, коврами, ровными медными карнизами, с зеркалами на площадках и оказалась на улице, на широком светло-сером тротуаре одного из красивых кварталов города. Я побежала, спустилась в метро. Там мое внутреннее Нечто охватило меня уже всю, вонзая свои корни в мою фиброматозную матку. Фиброматоз! Какое ужасное слово! Каверна, наполненная кровянистыми волокнами. Отверстие, чудовищно набухшее. Жаба, набитая гнойниками. Каракатица!

Для душевнобольных слова, как и предметы, живут, подобно людям и животным. Они трепещут, исчезают или, наоборот, приумножаются. Пройти через слова – это все равно, что пройти через толпу. Остаются образы, силуэты, быстро уплывающие из памяти, а иногда надолго в ней закрепляющиеся неизвестно почему. Для меня в то время только одно слово, отделенное от массы остальных, оживало, становилось самым значительным, жило внутри меня, не оставляло в покое, мучило, вновь появлялось ночью и ждало моего пробуждения.

Я тихонько открывала глаза, выходила из гнетущего, «химического» сна, в который меня ввергали транквилизаторы. Вначале я чувствовала себя абсолютно здоровой. Я чувствовала время, солнце. Все шло своим чередом. Я поднималась на поверхность сознания. Секунда, две, может, три. ФИБРОМАТОЗ! Шлеп! Разлившийся, как обильная струя жирной краски на чистой стене. Меня неизменно бросало в дрожь, сердце колотилось, я задыхалась от страха. Так начинался мой день.

Я должна вспомнить и вновь обрести ту позабытую женщину, более чем позабытую, практически растворившуюся. Она ходила, она говорила, она спала. Меня волнует мысль о том, что видели ее глаза, слышали ее уши, чувствовала ее кожа. Ибо именно моими глазами, моими ушами, моей кожей, моим сердцем жила та женщина. Я рассматривала свои руки, те же руки, те же ногти, то же кольцо. Она и я. Она – это я. Сумасшедшая и я начинали совершенно новую жизнь, полную надежд, жизнь, которая уже не могла быть плохой. Я оберегала ее, а она одаривала меня воображением и свободой.

Чтобы рассказать о моем превращении, о рождении, я должна отдалиться от той сумасшедшей, держать ее на расстоянии, раздвоиться. Я вижу ее на улице, она спешит. Мне известны ее старания, я знаю, сколько усилий ей приходится прилагать для того, чтобы выглядеть нормальной, прятать свой страх за взглядом. Я вспоминаю, как она стоит со втянутой в плечи головой, печальная, поглощенная усиливающимся внутренним беспокойством, отводящая глаза. Чтобы только ничего не обнаружилось! Больше всего она была озабочена тем, чтобы не упасть на улице, чтобы ее не схватили другие и не повезли в больницу. Мысль, что она уже не в состоянии совладать с безумием, нараставший поток которого в один день разрушил бы дамбу и широко разлился, бросала ее в дрожь.

Маршрут ее походов все больше сокращался, и в один прекрасный день она перестала выходить в город! Потом в какой-то момент ей пришлось сократить и свои передвижения внутри дома. Капканы множились. Последние месяцы перед тем, как ее отдали в руки врачей, она могла жить лишь в ванной. Белая комната, кафель ромбиком, слабый свет из окошка в форме полумесяца, почти целиком закрытого ветками массивной ели, стучащими в окно в ветреные дни. Комната, в которой должно пахнуть только антисептиками и туалетным мылом. Ни пылинки по углам. Пальцы скользят по плитке, как по льду. Никаких следов разложения или брожения. Лишь неразлагающаяся материя или, по крайней мере, разлагающаяся столь медленно, что невозможно было представить ее окончательно испортившейся.

Между биде и ванной – именно там ей было уютнее всего, когда она не могла больше справиться с внутренним Нечто.

Там она пряталась, ожидая, когда лекарства возьмут действие. Сворачивалась калачиком: пятки касались ягодиц, а руки изо всех сил прижимали колени к груди, ногти впивались в ладонь так сильно, что в конце концов образовывались ранки, голова качалась во все стороны, будто налитая свинцом, а кровь и пот текли ручьями. Это Нечто, которое состояло из чудовищного клокотания образов, звуков, запахов, рассеивающихся во всех направлениях сокрушительными толчками, разрушало связность любого суждения, делало абсурдным любое объяснение, бесполезной любую попытку упорядочения, пробиваясь наружу сильной дрожью и противным потом.

Кажется, когда я в первый раз пошла к психоаналитику, был вечер. Или, может быть, у меня просто сохранилась ностальгия по одному из тех поздних сеансов в конце глухого переулка вдали от холода, от всех остальных, от сумасшедшей, от тьмы. Это был один из тех сеансов, когда я осознала, что вынашиваю себя, что рождаюсь. Появлялись светлые перспективы, дорога становилась шире, и я это понимала. Сумасшедшая уже не была той женщиной, которая существовала лишь затем, чтобы спрятать свою дрожь в туалетах быстро, которая убегала от безымянного врага, кровоточила на тротуарах, разбрызгивала свой страх по ванной комнате, той больной, которая не хотела, чтобы к ней прикасались, смотрели на нее, чтобы к ней обращались. Сумасшедшая становилась женщиной – нежной, чувственной, полноценной. Я начала принимать сумасшедшую, любить ее.

Первый раз я пришла в глухой переулок с мыслью побыть какое-то время под присмотром доктора, который не отправит меня в больницу (я знала, что психоаналитики не отправляют туда своих пациентов). Я боялась госпитализации так, как боялась операции, которая ампутировала бы мне весь живот. Я сбежала из психиатрической клиники, чтобы оказаться в глухом переулке, но боялась, что явилась слишком поздно и что мне придется туда вернуться. Мне казалось, что это неизбежно, особенно когда внутреннее Нечто дополнилось галлюцинацией. Кстати, я твердо решила не говорить доктору об этой галлюцинации. Мне казалось, что, если я это сделаю, он не сможет заботиться обо мне и немедленно отправит туда, откуда я пришла. Эпизодическое присутствие живого глаза, направленного на меня, реально существующего, но существующего только для меня (это я понимала), казалось мне признаком настоящего безумия, неизлечимой болезни.

Мне было почти тридцать лет, физическое здоровье мое было отменным, и, закрывшись в своей скорлупе, отдалившись от детей, я могла бы наслаждаться этим здоровьем еще лет пятьдесят и, может быть, полностью подчинилась бы своей судьбе. И я, наверно, отказалась бы бороться, если бы не дети. Ибо борьба против внутреннего Нечто была изнурительной, и я все чаще и чаще прибегала к лекарствам, которые переносили меня в липкое и приятное небытие. Мои дети были маленькими человечками, которых я очень ждала. Они не появились на свет просто так, случайно. Еще в раннем детстве я говорила себе: «Когда-нибудь у меня будут дети, и я построю вместе с ними и для них жизнь, полную тепла, любви, нежного покровительства, веселья». Это было то, о чем я мечтала, еще когда была маленьким ребенком. Дети появились на свет, привнеся в мир свою совершенно новую жизнь. Они были очень крепкими, совсем разными, хорошо росли. Мы обожали друг друга. Мне нравилось смеяться вместе с ними, мне нравилось напевать им песенки.

Потом все пошло прахом: появилось внутреннее Нечто, затем ушло, вернулось и больше не покидало меня. Оно так завладело мной, что я была поглощена только им. Какое-то время вначале я думала, что смогу жить со своим Нечто так, как другие живут с одним глазом или с одной ногой, с болезнью желудка или почек. Некоторые медикаменты действительно загоняли его в дальний угол, где оно не шевелилось. Тогда я могла слушать, говорить, ходить, могла гулять с детьми, рассказывать истории, чтобы их развеселить. Потом действие медикаментов

постепенно ослабло. Я стала принимать двойную дозу, тройную. И однажды я поняла, что стала настоящей пленницей внутреннего Нечто. Я консультировалась у огромного количества врачей. Кровь теперь текла безостановочно.

Изредка у меня ухудшалось зрение. Я жила будто в тумане, все становилось мутным и опасным. Голова втягивалась в плечи, кулаки сжимались, готовые к обороне. Сердцебиение доходило до 130–140 ударов в минуту, и это длилось в течение всего дня, было ощущение, что сердце вот-вот пронзит грудную клетку и выскочит, колотясь на виду у всех. Его трепещущий ритм истощал меня. Мне казалось, что все вокруг слышат, как оно бьется, и от этого мне было стыдно.

У меня появились две мании – два действия, которые я повторяла по тысяче раз в день. Одно, уже описанное мною, состояло в том, чтобы проверять, в каком состоянии находится ток моей крови, а второе – в том, чтобы измерять пульс. Как и в случае с кровью, я действовала тайком, так, чтобы никто не заметил. Мне не хотелось, чтобы кто-то, видя, как я ощупываю запястье своей руки, говорил: «Что случилось, вы плохо себя чувствуете?». Кровь и пульс были двумя самыми чувствительными, ощутимыми приметами моей болезни. Эти были два симптома, позволявшие мне изредка, когда больше невозможно было выдержать, говорить: «Я сердечница. У меня рак матки». И я опять начинала ходить по врачам. А смерть давала о себе знать еще сильнее своими плохо пахнущими жидкостями, продуктами разложения, червями, ломкими костями.

Сейчас, когда мне взбрело в голову рассказать о своей болезни, сейчас, когда я предоставила себе мучительную привилегию описать страшные картины и болезненные ощущения от воспоминаний, мне кажется, будто я режиссер с камерой в руке, который, крепко держась за огромную рукоятку подъемного крана, может опуститься вниз, чтобы крупным планом подробно снять детали одного лица, и сразу затем подняться над съемочной площадкой, чтобы запечатлеть всю сцену целиком. Таким образом, описывая свой первый визит к доктору, я вижу Париж с его ночными осенними (осень ли тогда была?) огнями и квартал Алезия, а в нем – глухой переулок и домик, а в домике – кабинет, освещенный мягким светом, где беседуют мужчина и женщина, и женщина эта свернулась на кушетке клубочком, как плод в утробе.

Так вот, в то время я еще не знала, что лишь начинала рождаться и что переживала первые минуты своей собственной долгой беременности, растянувшейся на семь лет. Я была лишь эмбрионом, вынашивавшим меня саму.

Я рассказала доктору о крови и о том внутреннем Нечто, от которого у меня начиналось сердцебиение, но знала, что не буду говорить ему о галлюцинации. Я рассказала о последних прошедших днях, о клинике. Я говорила обо всем.

Доктор слушал меня с большим вниманием, однако ничто в моем рассказе не вызывало у него никакой реакции. Когда я закончила, поведав ему о ванной комнате и о кризисах тревоги, он спросил меня:

- Что вы чувствуете в такие минуты, кроме физического страдания?
- Я боюсь.
- Бойтесь чего?
- Я боюсь всего... я боюсь смерти.

Собственно говоря, я не знала, чего я боялась. Я боялась смерти, но боялась и жизни, которая содержит смерть. Я боялась внешнего, но боялась и внутреннего, являющегося оборотной стороной внешнего. Я боялась других, но боялась и себя, которая была другой. Я боялась, боялась, боялась. БОЯЛАСЬ, БОЯЛАСЬ. Вот и все.

Страх загнал меня в мир умалишенных. Семья, от которой я с таким трудом отделилась, опять образовывала вокруг меня кокон, все более и более тесный, все более и более непро-

нищаемый по мере того, как прогрессировала моя болезнь. Семья делала это не только для того, чтобы защитить меня, но и чтобы защититься самой. Безумие неуместно в определенной социальной среде, его надо во что бы то ни стало скрывать. Безумие аристократов или простых людей считается эксцентричностью или пороком, его можно объяснить. Но в новом классе власть имущих ему нет места. Если оно является следствием плохой крови или нищеты – куда ни шло, это можно понять, но оно не может исходить из комфорта, из изобилия, хорошего здоровья, равновесия, которое дают честно заработанные деньги. В этом случае оно является постыдным.

Поначалу мне деликатно, шепотом говорили: «Ничего, ты просто нервничаешь. Отдохни и займись спортом». В дальнейшем это превратилось в приказания: «Пойдешь к доктору N, он друг твоего дяди и видный специалист по нервным болезням». Видный специалист-друг прописал мне лечение «под медицинским наблюдением». В клинике дяди мне отвели комнату на самом верху.

Комната на чердаке с большой кроватью, тихая, обитая тканью «де жуи» с успокаивающими деревенскими мотивами: пастушка с овцами и кнутом, оливковое дерево с узловатым стволом и листьями. Пастушка, овцы, дерево, пастушка, овцы, дерево. Умиротворяющее повторение. Ширма из такой же ткани загораживала удобный туалетный столик из красивого белого фарфора с закругленными углами – такой идиллический, успокаивающий. Передо мной – стол со стулом, затем слуховое окно, открывающее чудесную панораму Иль-де-Франс: вереница шумных тополей, яблони, рассаженные в шахматном порядке, пшеничные поля на пологом склоне, насколько хватает глаз. Огромное небо.

Ткань «де жуи», на самом ли деле она была в комнате клиники или же она из моей детской комнаты? А были ли в ее набивке крупные цветы на толстых стеблях? Да и что было на стенах – ткань «де жуи» или просто голубая краска? Я уж и не знаю. Я не знаю, как туда попала, кто меня привел. Я отчетливо вижу узкую лестницу, ведущую в комнату. Вижу пространство комнаты, мебель, окно. Туалетный столик.

Там пришлось раздеться, надеть новую пижаму, сесть на мягкую кровать со свежим бельем, затем лечь, дать измерить себе давление и пульс – отдаться в руки врачей. Я закрыла глаза, чтобы продолжить свою внутреннюю борьбу, так как внешне мною и так руководили: тело мое было натянуто как струна, руки лежали на разглаженной постели, кисти были разжаты. Внешне я выглядела нормальной. Внутри же мне необходимо было утихомирить все пульсации. Мне надели на руку манжетку, я слышала короткие вздохи груши и чувствовала, как манжетка все сильнее сжимала меня, затем я поежилась от контакта с холодным металлическим диском, который приложили к внутренней стороне моего локтя. Доктора обеспокоило мое слишком низкое давление: предстояло измерять его через каждые четыре часа, после чего принимать таблетки. Меня мало волновало пониженное давление. Меня интересовал пульс, сумасшедшее сердцебиение. Мое давление оставляло мне возможность попытаться его успокоить. С моей руки сняли манжетку, кто-то зашевелился возле меня.

Кто бы это мог быть? Дядя? Друг-профессор? Кто-нибудь еще? Не знаю. Тогда я была так занята тем, чтобы контролировать себя и объявить войну внутреннему Нечто, что толком ничего не видела, чувствовала, что слепну, брела ощупью, скорее какой-то инстинкт помогал мне не сталкиваться с предметами и людьми.

Наконец я почувствовала кончики пальцев, умело сжимающих мое запястье. Четыре мягкие подушечки – им не понадобилось ничего нащупывать, едва они коснулись зоны пульса, как кровь, взволнованная, напуганная внутренним Нечто, начала стучать. А пальцы, как только услышали эти биения, еще больше умножили их, и они понеслись по всему телу, по всей комнате. 90, 100, 110, 120, 130, 140... Тщетно я прятала внутреннее Нечто и закрывала все, откуда оно могло бы выйти, оно умело проявлять себя через вены, через кожу. Подлое Нечто было там, оно издевалось надо мной, не слушалось меня, било как ненормальное в чужие пальцы,

которые вдруг отстранились. С этой минуты они уже знали все. Снова движение, легкий шум шагов, не пугающий, безобидный.

– Сейчас вы примете лекарство. Всего лишь по четверть таблетки четыре раза в день в течение недели. Затем дозу увеличим. Это вам поможет.

Говорила женщина маленького роста, худая, с седыми волосами. В ее взгляде я прочла, что она уловила знак, переданный ее пальцам внутренним Нечто. Она знала.

Я взяла маленькую дольку таблетки, стакан с водой, протянутый ею, и сделала вид, что глотаю. На самом деле уже несколько недель подряд я не могла глотать нерастворенные лекарства. Мое горло сжалось настолько, что в него ничего не проходило. Каждый раз, когда нужно было сделать глоток, мне казалось, что я задыхаюсь. Я закрыла глаза и своим поведением дала понять, что все идет хорошо, что теперь мне нужно отдохнуть. Кусочек таблетки оставался у меня в горле, как огромная, плотная масса. Женщина ушла.

Я тут же побежала к умывальнику выплюнуть таблетку и засунула свои пальцы глубоко в глотку, чтобы спровоцировать освобождающие спазмы. Наконец маленький желтоватый треугольник появился вместе со слизью, пеной и липкими каплями. (Таблетка – была ли она желтоватой, бледно-розовой или перламутровой?) Я села на биде, дрожа с ног до головы, прильнув лбом к холодному и твердому краю умывальника. Время перестало существовать. Я не знаю, как долго я оставалась неподвижной. Помню, что я вынула тампон, блокировавший кровь, которая, я видела, текла медленно, капля за каплей, в то время как я легко покачивалась взад и вперед, укачивая себя и прекрасно зная, что вместе с собой я укачивала внутреннее Нечто. Капли крови стекали, понемногу растворялись во влажности белого фаянса и в конце концов проложили себе извилистую дорожку до места стока. Я смотрела на то, что происходило с кровью, вытекающей из меня, и думала, что сейчас у нее собственная жизнь, что она открывает физику земных вещей: вес, плотность, скорость, продолжительность. Она не давала мне скучать, сама являясь жертвой непостижимых и равнодушных законов жизни.

Внутреннее Нечто победило. Существовали только мы вдвоем, и так навсегда. Наконец мы были закрыты, сами в себе, вместе со всем тем, что мы выделяли: кровь, пот, экскременты, слюну, гной, рвоту. Это Нечто лишило меня детей, оживленных улиц, освещенных витрин, легких волн моря во второй половине погожего дня, кустов сирени, смеха, удовольствия от танца, дружеского тепла, тайной восторженности от учебы, долгих часов чтения, музыки, мужских рук, нежно обнимающих меня, шоколадного крема, радости плавания в прохладной воде. Мне оставалось лишь корчиться в этой ванной комнате клиники, в ее самом стерильном месте, и потеть, дрожа. Дрожь так сотрясала меня, что стук моих челюстей был похож на беспорядочную стрельбу из автомата.

К счастью, ступеньки маленькой лестницы издавали скрип, и при малейшем шорохе я вновь ложилась и принимала естественное положение. Мне не нравилась седая женщина, и я никогда не заговаривала с ней. Она приносила мне подносы с едой и, измерив давление и пульс, давала таблетки. Я не могла есть. Я бросала в умывальник все, что могло проходить в его отверстие, остальное уходило в водосточную трубу, которая заканчивалась под крышей из волнистой черепицы у моего окна. Я не помню, как тянулось время, быстро или медленно, не помню ни дней, ни ночей. Я была пленницей. Я смотрела в окно, прикидывая, можно ли умереть, бросившись из него. Да, можно, ведь подо мной наверняка было не менее четырех этажей. У нижней части дома была своя отдельная крыша, и не знаю, куда бы я упала, может, на какую-нибудь веранду, а может, и на траву. Но мне не хотелось покончить с собой таким образом. Да и смерть пугала меня, заявляя, однако, о себе как о единственном выходе, чтобы избавиться от внутреннего Нечто.

Я не помню, сколько дней прошло, прежде чем я почувствовала чрезвычайную потребность сбежать. Во всяком случае по меньшей мере дней восемь, потому что в то утро (а я уве-

рена, что это было утром) мадам дала мне выпить половинку таблетки, а я точно помнила, что неделю я должна была принимать по четверть таблетки, а затем – по половине.

В какой-то момент я поняла, что лежу в постели нормально, на спине, с открытым лицом. Это меня удивило: уже много месяцев я могла жить лишь съезжившись, спать лишь свернувшись клубочком, с головой, накрытой простыней. Обнаружив эту перемену, я почувствовала тяжесть в затылке, как будто что-то давило на меня внутри, как будто мозжечок был из свинца. И тогда я осознала, что эта тяжесть, не слишком отчетливая, существовала во мне уже в течение некоторого времени. В ту же секунду я увидела, что внутреннее Нечто больше не было тем возбужденным, пыхтящим, проворным – оно стало плотным, липким, густым. Во мне сейчас обитал не столько страх, сколько, скорее всего, отчаяние, горечь, отвращение. Мне не хотелось больше находиться в клинике. Я не знаю, какой инстинкт заставил меня тогда отдать предпочтение изнурительной борьбе с Нечто разъяренным, вместо того чтобы сосуществовать с Нечто мягким, прилипшим ко мне с отвратительным бесстыдством.

Утром, чувствуя все большую тяжесть и боль в голове, уткнувшись в подушку, я установила связь между моим нынешним состоянием и таблетками. Я вспомнила разговор между другом-психиатром и моим дядей. Они говорили о новом методе лечения, о «химическом электрошоке», который пока мало применялся, однако результаты его были лучшими по сравнению с обычным электрошоком. Они беседовали в моем присутствии, как будто я была всего лишь каким-нибудь фарфоровым сосудом. Главное, что вначале я не придавала их словам никакого значения. Я просто думала о том, что круг замкнулся, что меня положат в больницу, и это было естественно, так как я была не в состоянии жить, как все остальные, не в состоянии воспитывать как положено своих детей.

И потом я больше не выдерживала, я хотела освободиться от страха, от того внутреннего Нечто любой ценой.

И все же в то утро в клинике я поняла, что цена этому будет слишком высокой, и мне не хотелось платить эту цену.

Не буду принимать их противные таблетки, я решилась! Когда придет мадам, я буду симулировать глотание таблетки, но не проглочу ее, выплюну в окно. В водосточную трубу под крышей.

Так я и поступала.

Перебирая в памяти события того периода, я удивляюсь, находя там лишь пустые длинные пласты, отдельных людей и предметы, пляжи, посыпанные смутными обрывками моих дней, и среди этого вдруг конструкции – ясные, четкие, цельные, отлично сбалансированные и яркие. Во время болезни моя голова бывала порой более сообразительной, более ясной, чем когда-либо. С того времени я храню одно душераздирающее воспоминание. Когда я была сумасшедшей, я открыла в своей голове ходы, которые без помешательства я никогда бы не открыла. Во мне обнаруживались невероятные интеллектуальные способности, иногда меня осеняли глубокие, тонкие, отчетливые соображения, ведущие меня к более совершенному познанию, к более глубокому пониманию всего, что меня окружало. Я присматривалась к другим и видела их идущими по пути, абсолютно отличному от того, что открыла я, даже по противоположному, такому пагубному для них, что хотелось остановить их, предупредить об опасности. Но я этого не делала, ибо, считая себя больной, думала, что все мои открытия были не чем иным, как чистой деменцией. Как могло меня пугать то, что пропадают другие, когда я сама была умалишенной?

Итак, в тот день я ясно увидела, что произойдет и со мной. Ведь я никогда не встречала «излеченных» психиатрических больных. Я видела некоторых из них: чучела, безобидные, осторожные даже сами с собой, люди с влажными ладонями и с двусмысленным взглядом: пламя, пепел, пламя, пепел... Я думаю, что их Нечто уже не заставляло их страдать, но оставалось живым внутри и продолжало управлять ими.

С моей больной, тяжелой, страдающей головой (этот мозжечок, который лекарство «отрывало» от меня!) я тем не менее поняла все. Я не желала такой судьбы и придумала отличный план побега, рассчитав все до мельчайших подробностей. Во-первых, не принимать ни кусочка таблетки. Затем немного поесть, так как, чтобы выйти отсюда, мне нужны силы. Получить разрешение гулять в парке. После этого будет проще. Но, главное, я предвидела, что без моих собственных лекарств внутреннее Нечто вновь начнет атаковать меня тревогами, лихорадкой, страхом, потливостью. Я опять начну плохо видеть, начну кровоточить, как кусок мяса. Я во что бы то ни стало должна была убраться! Я знала, что на то, чтобы сыграть намеченную роль, в моем распоряжении было всего двадцать четыре часа. Потом я уже не смогу бежать, ибо все мои силы опять будут сосредоточены на схватке с внутренним Нечто, ведь я сомневалась, что смогу унести с собой сумку с кучей успокоительных средств, снотворных и со всеми теми вещичками, которыми я пользовалась в своей борьбе: кусочками сахара, чтобы усмирить желудочные колики, мятными таблетками, чтобы язык не был таким липким, а горло немного разжалось, аспирином, чтобы остудить голову, дезодорантом, чтобы унять запах пота, тампаксами, бумажными салфетками, ватой, чтобы остановить кровь, черными очками, которые спрятали бы мои глаза от других людей и защитили бы от невыносимого света. В этой сумке были и деньги, в которых я нуждалась, потому что находилась, по сути, в чистом поле, где невозможно было сесть в автобус, поезд или взять такси. Я должна была найти другой способ. И я найду его.

Я пойду в деревню и позвоню другу. (Меня знали на почте: «Племянница директора... заплатит завтра». Я уже поступала так.) Я была уверена, что попросить свою сумку было равносильно провалу. Они не должны ничего заподозрить. К счастью, я хорошо знала парк, где в детстве играла и где потом часто гуляла со своими детьми. Мне были знакомы некоторые дыры в заборе, сквозь которые можно было пролезть незаметно для сторожей. Им было неизвестно, по какой причине я находилась в клинике – она не была предназначена специально для лечения душевнобольных. Можно с уверенностью сказать, что только дядя, тетя и медсестра владели этим секретом. Но сторожа могли проболтаться, и тогда дядя мог узнать, что я вышла из парка. Тогда бы весь мой план провалился. Иначе обстояли дела с работниками почты – они не были в контакте с персоналом клиники.

Я все сделаю завтра. А послезавтра уйду. Единственное, что могло меня выдать, это пульс. Будет ли мое успокоительное действовать достаточное время?

Чтобы принять обеденную таблетку, я легла на кровать. Вошла медсестра.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, похоже, сегодня вы чувствуете себя лучше.

– Да, я себя чувствую лучше.

Давление, пульс, стакан воды и половина таблетки на маленьком металлическом подносе. Уже несколько дней мне не надо было бы ее растворять, я могла глотать нормально. Ловко зафиксированный под языком, прилипший к зубам полумесяц, вода, которая течет в горло.

Я улыбаюсь, она уходит. Таблетка отправляется в водосточную трубу. Послеобеденное время – на сей раз я стою в туалете.

– Сегодня хорошая погода.

– Да, хорошая.

– Мне хотелось бы увидеться с дядей. Хочется выйти.

– Ну-ну, полно, я думаю, это невозможно. Вот так, в разгар лечения?!

– Но я могла бы увидеться с дядей? Мне хочется что-нибудь почитать.

– Конечно.

Давление, пульс, таблетка в водосточной трубе. Через несколько мгновений заходит дядя:

– Итак, я вижу, тебе лучше, появилась охота читать! Я принес тебе иллюстрированные журналы и детективы.

– Мне хотелось бы немного походить. Нельзя ли погулять по парку?

– Я должен спросить твоего лечащего врача.

– Позвони ему. Я знаю, это пойдет мне на пользу, мне очень хочется.

– Я позвоню, в принципе после обеда он должен прийти осмотреть тебя.

– Я не могу все время сидеть неподвижно. Знаешь, мне намного лучше.

Широкая улыбка. Он сидит у кровати и едва осмеливается смотреть на меня. Чтобы спрятать свое беспокойство, делает вид, что просматривает мою карточку, где ежедневно указываются давление, пульс и дозы прописанных лекарств. Он знает эту карточку наизусть – каждое утро ему приносит ее медсестра.

– Ты выглядишь, как будто тебе действительно лучше, отлично. Я обязательно тебе скажу, что думает по этому поводу твой доктор.

Мой доктор! Я даже не знаю, как его зовут.

В ожидании возвращения дяди я решаю привести себя в порядок. Медленно расчесываю волосы, затем чищу зубы. Утомилась, у меня почти не осталось сил. Караулю внутреннее Нечто, но оно не беспокоится. Тогда я сажусь смотреть, как течет моя кровь в биде. Это мое любимое занятие с тех пор, как я нахожусь в клинике. Зрелище напоминает мне море и его волны, бегущие журча навстречу пляжу. Я думаю и о планетах, которые совершают свое регулярное вращение.

Как только я слышу скрип ступенек, я натягиваю трусы и с открытым журналом сажусь на стул у стола. Джина Лоллобриджида, с глубоким декольте, широко улыбается. Боже, как удается этой женщине быть такой счастливой?

Вошел дядя, одетый все в тот же белый халат, немного обтягивающий ему живот, с белым колпаком на голове, который он надевает в операционной.

– Твой доктор согласен. Завтра можешь пойти погулять. Он очень доволен тем, как быстро улучшается твое состояние. А ведь этот новый препарат, случается, оказывает на пациентов противоположный эффект, приводя их к апатии, провоцируя у них мигрени. Тебя будет сопровождать медсестра. Твоя тетя спрашивает, не хочешь ли ты поужинать с нами.

– Нет, не сегодня, спасибо. Я уже поела и лягу спать. Я приду завтра, если прогулка пойдет мне на пользу. Поблагодари ее от меня, она поймет, почему я не хочу прийти.

– Конечно. Знаешь, она ни минуты не сомневалась, что ты очень скоро выйдешь из своего состояния. Это не в духе вашей семьи. Ты слишком переутомилась, желая самостоятельно вырастить детишек. И все. Тетя очень беспокоится за твою мать, которая места себе не находит от волнения. Ты знаешь, как сильно они любят друг друга. Целый день висят на телефоне. Бедная твоя мать, она еле держится на ногах. Дети ее утомляют.

– Я очень скоро приду в себя. Вы должны успокоить ее. Все это не надолго.

– Знаешь, то, что я говорю, больше относится к твоей матери. Бедная женщина многого натерпелась, она заслуживает покоя... В конце концов, я говорю с тобой как... со взрослым человеком. Не преувеличивай трудности.

– Нет, нет. Я тебя понимаю, я покончу с этим, я чувствую, мне лучше.

– До свидания, моя большая девочка.

Он целует меня в лоб, выходит.

Я не хочу думать о матери. Я не должна думать о детях...

Затем все помутнело. Драка с внутренним Нечто была жестокой. Я чувствовала, что мне не хватает сил на долгую борьбу с ним, голыми руками, без хотя бы капельки лекарства, без ничего, и все же я выдержала. Я вышла без медсестры, одна. Побегала по полю. (Я стараюсь вспомнить, была ли пшеница на поле уже высокой, но мне это не удастся.) Я застаю своего приятеля дома, у телефона.

– Пообещай мне, что завтра приедешь к этому же часу? Жди меня на перекрестке национального шоссе и дороги, где указатель на клинику, это за километр до въезда в деревню, налево.

– Можешь на меня рассчитывать, я приеду.

Вечером, сидя у телевизора между дядей и тетей, я подумала, что мы находимся в большом аквариуме. Они были милыми рыбками, спокойно щиплющими водоросли, а я – карака-тицей.

Нужно стараться не быть агрессивной, не делать ничего, что им было бы неприятно, ни одного слова, ни одного жеста.

Я не знала, что покидаю их навсегда. Знала только, что я их обманываю, и это меня задевало. Их – представителей того, что было самым удачным в нашей семье.

Отдаляясь от них, я отдалялась от Добра. Но таковой была дорога, по которой я решила идти. Если задуматься, я никогда не была нормальной, не умела жить нормально, как они. Исчезая, я освобождала их от себя.

На следующий день машина была в назначенном месте. Мы сразу тронулись в путь, и я дала себе волю – дрожала и стучала зубами.

– Тебе нехорошо? Что я могу сделать для тебя?

– Ничего, ничего, ты ничего не можешь сделать для меня. Вези меня к Мишель. Не волнуйся, пройдет. Потом позвони в клинику, скажи, что я в надежном месте, пусть не ищут. Но не говори им, где я. Я больше не хочу их видеть.

На следующий день я впервые шагала по глухому переулку.

Кто позвонил доктору? Я? Мишель? Не помню. Она была с ним знакома, я слышала о нем. Возможно, это сделала я. (У Мишель я нашла какие-то успокоительные таблетки и смогла усмирить свое внутреннее Нечто.)

И вот, я все рассказала доктору.

Мне хотелось говорить о крови, но я больше говорила о внутреннем Нечто. Он выгонит меня? Я не осмеливалась взглянуть на него. Говоря о себе в той маленькой комнате, я чувствовала себя хорошо. А что если это был капкан? Последний? Может, не стоило так доверяться?

Доктор сказал: «Вы правильно поступили, что перестали принимать таблетки. Они очень опасны».

Все мое тело распрямилось. Я почувствовала глубокую благодарность к этому порядочному человеку. Может, существуют какие-то средства общения между мной и другими. Ах, если бы это действительно было так! Если бы я могла говорить с кем-то, кто действительно услышал бы меня!

Он продолжил: «Думаю, я смогу вам помочь. Если вы согласны, с завтрашнего дня мы сможем начать анализ. Вы будете приходить три раза в неделю на сеансы по сорок пять минут каждый. Но в случае, если вы согласитесь, я должен вас предупредить о том, что, во-первых, психоанализ может перевернуть всю вашу жизнь, и, во-вторых, придется прямо с этой минуты отказаться от любых таблеток, будь они от кровотечения или для лечения нервной системы. Никакого аспирина, ничего. Наконец, вы должны знать, что анализ длится, по меньшей мере, три года и стоить он будет дорого. Я попрошу с вас сорок франков за сеанс, то есть сто двадцать франков в неделю».

Он говорил серьезно, и я чувствовала, что он хочет, чтобы я выслушала его и все взвеси-ла. Первый раз за долгое время кто-то обращался ко мне как к нормальному человеку. И первый раз за долгое время я вела себя как человек, который способен взять на себя ответственность. Тогда я поняла, что в прошлом постепенно у меня была отнята любая ответственность, я была уже никем. Я стала думать о том, что происходит, и о том, что он мне только что сказал. Что за крутой поворот может произойти в моей жизни? По-видимому, я разведусь, ибо

внутреннее Нечто появилось как раз в момент замужества. Да, я, наверно, разведусь, посмотрим. Кроме этого, я не видела ничего, что еще могло бы измениться в моей жизни.

С деньгами было хуже – у меня их не было. Я жила на деньги, заработанные мужем, и на деньги моих родителей.

– Доктор, у меня нет денег.

– Вы их заработаете. Вы должны оплачивать сеансы деньгами, которые заработали лично вы. Так предпочтительнее.

– Но я не могу выходить, я не могу работать.

– Вы сможете. Я подожду три месяца, полгода, пока вы найдете себе работу. Мы можем договориться. Мне лишь хотелось, чтобы вы знали, что вам придется платить мне и что это обойдется вам дорого. Сеансы, которые вы будете пропускать, будут оплачиваться вами так же, как и остальные. Если вам это не будет стоить ничего, вы не примете анализ всерьез. Уж это мне известно.

Он говорил довольно сухо, тоном человека, который заключает деловую сделку. Ни тени сочувствия в голосе, ни тени врачебного или родительского отношения. Я не знала, что, идя на то, чтобы тут же начать со мной анализ, он брал на себя дополнительную нагрузку, еще три часа в неделю, отягощая тем самым свою жизнь, и так уже переполненную встречами с больными. Он не сделал ни одного намека ни на избыток усталости, ни на то, что поступал так исключительным образом потому, что видел, насколько я больна. Ни одного слова, наоборот, на первый взгляд, речь шла лишь о простой сделке. Он брал на себя риск, выбор оставался за мной. Ведь он знал, что, кроме него, у меня было лишь два выхода: психиатрическая больница или самоубийство.

– Доктор, я согласна. Я не знаю, как я буду вам платить, но я согласна.

– Все в порядке, начнем с завтрашнего дня.

Он достал маленький блокнот и указал мне дни и часы, когда я должна приходиться.

– Доктор, а если у меня появится кровотечение?

– Ничего не предпринимайте.

– Но я уже была госпитализирована по этой причине, мне делали переливания крови, выскабливания.

– Знаю. Ничего не предпринимайте, я жду вас завтра. Одного я все же от вас потребую: постарайтесь забыть все, что вы знаете о психоанализе, не прибегайте к этим знаниям, ищите замену для слов из аналитического словаря, которые вы выучили. Все, что вы знаете, будет лишь притормаживать вас.

Верно, я считала, что знаю об интроспекции все, и в глубине души мне казалось, что лечение будет иметь для меня тот же эффект, что и массаж для деревянной ноги.

– Но, доктор, что у меня?

Он сделал неопределенный жест, как будто говоря: «Какой смысл имеют диагнозы?».

– Вы утомлены, взбудоражены. Думаю, я смогу вам помочь.

Он проводил меня до двери.

– До свидания, мадам, до завтра.

– До свидания, доктор.

II

Ночь после этого первого визита была тяжелой. Нечто металось внутри меня. Уже долгое время я засыпала лишь после большой дозы препаратов, а доктор велел прекратить прием всех лекарств.

Я лежала в постели подавленная, на последнем издыхании, вся в поту. Когда я открывала глаза, то переживала распад всего внешнего: предметов, воздуха. Когда я закрывала глаза, то переживала распад внутреннего: клеток, собственной плоти. Это пугало меня. Ничто и никто ни на минуту не мог остановить эту деграцию всего. Я тонула, не могла дышать, повсюду были микробы, личинки мух, разъедающие все вокруг кислоты, гноящиеся опухоли. К чему такая жизнь, которая поедает сама себя?

К чему это вынашивание, наполненное агонией? Почему мое тело стареет? Почему оно производит жидкости и зловонные материи? Зачем моя потливость, фекалии, моча, кал? Почему? Зачем эта война всего, что существует, клеток – какая какую убьет и чьим насытится трупом? Зачем этот бесконечный величественный хоровод фагоцитов? Кто правит этим абсолютным монстром? Какой неутомимый мотор управляет погоней за добычей? Кто с такой силой приводит в действие атомы? Кто наблюдает за каждым камешком, каждой травинкой, каждым воздушным пузырьком, за каждым младенцем с исключительным вниманием, чтобы сопроводить их до смертного тления? Что, кроме смерти, столь же стабильно? Где успокоиться, как только не в смерти, представляющей собой само разложение? Кому принадлежит смерть? Что представляет собой это Нечто, огромное и мягкое, безразличное к красоте, радости, спокойствию, любви, – то, которое опускается на меня и душил? Кто одинаково любит дерьмо и нежность, не различая их? В чем другие находят силу, чтобы выдержать свое внутреннее Нечто? Как они могут жить с ним? Они сумасшедшие! Все они сумасшедшие! Я не могу спрятаться и ничего не могу поделать, я целиком зависима от того Нечто, которое приходит тихо, неумолимо, которое хочет меня, хочет для того, чтобы пожирать!

Течение разлагающейся жизни тащило меня по моей воле или самостоятельно к абсолютно неминуемой смерти, представляющей собой самое отвратительное. Это внушало мне ужасный, невыносимый страх. Так как для меня не существовало другой судьбы, кроме как свалиться в отвратительное смрадное чрево, то пусть это хотя бы произойдет как можно скорее. Мне хотелось покончить с собой, поставить точку.

Наконец, к утру я заснула, обессиленная, свернувшись, как внутриутробный плод.

Когда я проснулась, я плавала в собственной крови, она просочилась сквозь пружинный матрац и капала на паркет... Он сказал мне: «Ничего не предпринимайте, жду вас завтра». Еще шесть часов ожидания, я этого не выдержу.

Я лежала на кровати без движения, оцепеневшая, словно усопшая, и ожидала самого худшего. Два ужасных воспоминания всплывали в моей памяти в самых мельчайших подробностях, две катастрофы, два кошмара, которые я пережила в состоянии бодрствования. Однажды кровь потекла такими большими сгустками, что можно было подумать, что это куски печени, которые выходили один за другим, с абсурдным упорством, прикасаясь ко мне, нежно и тепло лаская. Меня срочно повезли в больницу, чтобы делать выскабливание. В другой раз, наоборот, кровь лилась из меня как толстая красная нитка, не переставая струиться: открытый кран. Я вспоминаю об остоленении, которое я испытала, когда с ужасом констатировала: «В таком темпе вся кровь вытечет из меня за десять минут». Опять больница, переливание крови, врачи, медсестры, все обрызганные кровью, настойчиво осматривавшие мои плечи, ноги, руки, чтобы найти вену, борющиеся всю ночь напролет. Затем утром операционная и еще одно выскабливание.

Я не осознавала, что, отдавая себя во власть крови, я маскировалась, прятала то самое внутреннее Нечто. Бывали минуты, когда проклятая кровь полностью занимала все мое существование и отнимала все силы, делая меня еще более беспомощной перед Нечто.

В назначенное время я была в конце глухого переулка, вся перебинтованная, затянута в какие-то самодельные пеленки. Я немного подождала, так как пришла чуть раньше. Человек, который был до меня, вышел. Как и накануне, я услышала, как открылись и закрылись две двери. Наконец, я вошла и сказала:

– Доктор, я обескровлена, я экс-сангвина.

Я очень хорошо помню, что произнесла это слово, потому что оно казалось мне красивым. Помню еще, что я старалась говорить с пафосным лицом и в пафосной манере. Доктор ответил мне мягко и спокойно:

– Это психосоматические расстройства, они меня не интересуют. Говорите мне о чем-нибудь другом.

Рядом был диван, но мне не хотелось воспользоваться им. Мне не хотелось сидеть или лежать. Мне хотелось стоять и драться. Слова, произнесенные этим человеком, были как пощечины, я еще ни разу не сталкивалась с такой грубостью. Прямо в лицо! Моя кровь его не интересовала! В таком случае все пропало! Я задыхалась, меня будто ударило молнией. Он не желал, чтобы я говорила ему о моей крови! Но о чем другом он желал, чтобы я говорила? О ЧЕМ? Кроме крови существовал лишь страх, ничего другого, а об этом я не могла говорить, не могла даже подумать об этом.

Я свалилась как подкошенная на кушетку и заплакала. Я, которая столько времени никак не могла заплакать, я, которая месяцами тщетно искала утешения в слезах! И вот, наконец, они лились большими каплями, они расслабляли мою спину, торс, плечи. Я плакала долго. Я погружалась в свою беду, разрешала ей схватить себя за руки, затылок, сжатые кулаки, тесно прижатые к животу, ноги. Как долго я не ощущала приятного спокойствия печали? Сколько времени мое лицо не испытывало нежности слез, смешанных со слюной и с тем, что текло из носа? Как давно я не испытывала боли, теплой волной проливающейся по моим рукам?

Мне было хорошо, как лежащему в своей люльке сытому младенцу, у которого еще не высохло на губах молоко и который сонливо переваривает пищу под оберегающим взглядом своей матери. Я лежала, прямая, как струна, на спине, послушная, доверчивая. Я стала говорить о своей тревоге и интуитивно поняла, что буду говорить о ней долго, годы напролет. Я почувствовала в своих глубинах, что, возможно, найду способ, как убить Нечто.

И все же, выйдя после первого сеанса и закрыв за собой дверь, я сразу вспомнила о крови и подумала, что доктор – помешанный, еще один шарлатан. Какому колдовству я отдалась? Сейчас мне нужно было действовать быстро, поймать такси и поехать на консультацию к врачу, к настоящему.

Шофер оказался разговорчивым, или, может, ему показалось, что я странно выгляжу, во всяком случае, он говорил непрерывно, и я все время видела его внимательный взгляд в зеркале заднего вида. В этих условиях, а главное, по причине того, что, чтобы пойти к врачу, я всю себя обвязала, я не могла приступить к привычной короткой и секретной проверке крови. Чем ближе мы оказывались к дому, адрес которого я ему указала, тем более необходимой становилась эта проверка. Я становилась все более беспокойной, агрессивной. Мне одновременно хотелось, чтобы шофер остановил машину и чтобы он продолжал ехать. Он ничего не понимал. Наконец, я подвинулась на край сиденья, положила левую руку на спинку переднего сиденья и прислонила к ней голову. Я делала вид, что слушаю этого человека. Между тем правой рукой шарила под юбкой, открывала застёжки, рвала повязки, скрепленные английскими булавками, пока не добралась до источника крови. Мне пришлось констатировать, что ничего особенного

не произошло, кровотечение не усилилось, мне даже показалось, что оно приутихло. Трудно сказать, ибо, когда я уходила час назад, я кровоточила очень сильно.

Я вдруг передумала и поменяла направление, указав таксисту адрес Мишель. Затем я свернула клубком на заднем сиденье. Может, я смогу выдержать до послезавтра, до следующего сеанса.

Очертя голову я побежала вверх по лестнице, цепляясь одеждой, отрывая от нее лоскутки. Скорее в ванную. Разбросав запачканные пеленки по полу, я кинулась на биде. Кровь больше не текла! Я не могла поверить своим глазам. Кровь больше не текла!

Я не знала, я не могла знать в тот день, что кровь уже никогда не будет течь так, как она текла прежде, – непрерывно, месяцами и годами. Я думала, что она остановилась лишь на несколько мгновений, которыми мне теперь хотелось насладиться, как я наслаждалась слезами. Я помылась и легла голый, с раздвинутыми ногами, на кровать. Чистая. Я была чистой! Я была священным сосудом, алтарем крови, киотом слез. Чистой, гладкой!

Доктор сказал: «Попробуйте понять, что с вами происходит: что вызывает, ослабляет или усиливает ваши кризисы. Все имеет значение: шумы, цвета, запахи, жесты, окружение... Все. Попробуйте сделать это с помощью ассоциаций идей и образов».

В тот день, несмотря на то, что я была еще совсем незнакома с анализом, мне все же не составило труда установить промежуточное звено между кровотечением и его остановкой: они были отделены друг от друга «пощечиной» доктора («Кровь меня не интересует, говорите мне о чем-нибудь другом...») и моими слезами.

В ту ночь моя голова, освободившись от крови, отважилась на радужные легкие рассуждения, простые подсчеты, успокоительные мысли. По обыкновению я восприняла это как часы отдыха, который, однако, не мог продолжаться долго, иначе меня охватило бы внутреннее Нечто, а от него я могла избавиться, лишь находясь в максимальной точке своего живого разума, в глубинах воображения, на пути к бесконечности, непостижимости, таинству, магии.

Вот так абсолютно нелепым образом, с легкостью ключевой воды, с воздушностью облака, с простотой яйца я поняла, что, подвергшись десяткам медицинских исследований, рентгенографий, тестов, анализов, я не получила ни одного результата, который указывал бы хоть на малейшую аномалию в каких-либо функциях моего тела, – ни в гормональном плане, ни в клеточном, ни в кровообращении, ни в органике, ни даже в составе моей крови. Я ясно поняла, что кровь была тем спасительным кругом для врачей и для меня, который позволял нам плавать по морю необъяснимого. Я кровоточу – она кровоточит. Почему? Потому что что-то не функционирует, что-то органическое, что-то физиологическое, что-то очень важное, что-то очень сложное, что-то фиброматозное, извращенной формы, сломанное, ненормальное. Анализы ничего не показывают, ни о чем не говорят, но не может ведь она кровоточить просто так, без всякой причины. Надо открыть и посмотреть. Надо сделать большой разрез на ее коже, в ее мышцах, в ее венах, раздвинуть плоть живота, внутренности и добраться до теплого, розоватого органа, отрезать его, удалить. Так крови больше не будет. Никогда, ни один гинеколог, ни один психиатр, ни один невропатолог не признал, что кровь исходила от внутреннего Нечто. Наоборот, мне давали понять, что внутреннее Нечто возникло из-за крови. «Женщины часто „нервничают“, потому что их гинекологическое равновесие является непрочным, весьма хрупким».

В тот вечер для меня стало очевидным, что главным было внутреннее Нечто, что именно ему принадлежала вся сила.

Я боролась с ним. Оно уже не было таким смутным, хотя я пока не знала, как его точно определить. В тот вечер я впервые приняла для себя сумасшедшую – допустила, что она существует в действительности. Мне захотелось принять свою болезнь такой, какой она была. Я поняла, что была той сумасшедшей. Она меня пугала, ибо носила в себе Нечто. Она вызывала у

меня отвращение и все же привлекала меня, как те прекрасные гробы, в которых выставлялись святые мощи. Золото, драгоценности и другие красивые вещи для содержания черепов с прогнившими зубами, старых бледных костей, засохшей крови! И священники, окружающие их, со своими кадилами, покровами, хоругвями и одуревшей толпой, распеваящей псалмы в процессии, следующей за этими уродливыми, высохшими останками. Плач и экстаз, исходящие из всех этих двигающихся губ, из всех этих потерянных взглядов, согнувшихся спин, пальцев, запутавшихся меж четок! Безумие! Таким было внутреннее Нечто, оно использовало то, что было самым лучшим в сумасшедшей, чтобы заставить ее обнажить худшее.

Я обрела уверенность в том, что Нечто находилось в моей голове, а не где-то в другом месте тела или вовне. Я была с ним один на один. Вся моя жизнь была не чем иным, как историей взаимоотношений между ним и мной. С той минуты моя собственная изоляция приобретала новый смысл: стала переходом, превращением.

Может быть, я вновь вернусь к жизни? Ведь я страшно страдала из-за безумия, в котором искала убежище. Меня разрывало на части, когда я находилась в ожидании решений от других, которые тогда, когда я их получала, каждый раз или ранили, или отталкивали меня еще больше. Кто смел меня задеть? Какой смысл имело волнение окружающих? Какой смысл был в непостижимом смешении слов, движений, в законных и цивилизованных действиях или же в диких поступках?

Я была неспособна понять членение жизни на годы, лет на месяцы, месяцев на дни, дней на часы, часов на минуты, минут на секунды. Почему все люди делали одно и то же в одно и то же время? Я уже ничего больше не понимала, жизнь окружающих не имела больше никакого смысла.

Я была отдана на произвол окружающего мира, который тогда, когда не был мне враждебен, был мне безразличен. И я должна была держать ответ перед этим миром, должна была все время винить себя за плохие поступки и каяться, что я их совершила. Мои мысли путались так, что по мере того как шли годы, у меня все больше складывалось впечатление, что я погружаюсь во что-то плохое, или неправильное, или недостойное, или даже непристойное. Мне больше никогда не удавалось быть довольной собой. Я считала себя отбросом, хламом, аномалией, чем-то постыдным и, что хуже всего, я считала, что запуталась из-за собственной отвратительной натуры. Я думала, что могла бы попасть в лагерь хороших людей, если бы обладала хоть крупицей смелости, крупицей воли, прислушивалась бы к великодушно даваемым мне советам. Но из-за своего малодушия, лени, бездарности, подлости я стала на плохую сторону и полностью скатилась в гнусность. И само тело стало тяжелым, согнулось. Мне казалось, что я стала такой же уродливой снаружи, как и внутри.

А потом, в тот вечер, когда кровь больше не текла, так как доктор разговаривал со мной нормально, я начала обвинять себя по-другому, видела себя иначе. Какое движение вызвал во мне этот маленький человечек? Какой инстинкт подталкивал меня?

Я упорно начала идти по новой стезе. Я была словно пчела, которая собирает нектар то тут, то там и которую ничто не отвлекает от кропотливого сбора самой лучшей пыльцы. А созданный мной мед будет означать мое равновесие. Ничто другое меня не интересовало. Ни о чем другом я не думала. Мне даже не пришлось в голову позвонить дяде. И мужа я известила лишь много позже.

III

Вслед за осенью пришла зима. Глухой переулочек был постоянно мокрым, весь в лужах, освещенных слабым светом. Иногда мне приходилось встречать пациентов, которым было назначено прийти до меня или вслед за мной и которые спешно шли вдоль заборов, пряча головы в воротники пальто. Мы обменивались взглядами, делая безразличный вид, однако мы все знали, что больны, что посещаем одного и того же доктора, сидим на одной и той же кушетке, смотрим на тот же потолок, видим тот же дефект обоев на стене, ту же нелепую гаргую над подставной балкой с другой стороны кушетки. Мы одинаково принадлежали братству потерянных, отравленных. И они, так же как я, пробирались между самоубийством и страхом, как между двумя жандармами.

Но я знала и то, что слова, которые я там изливала потоками трижды в неделю, были иными, нежели их слова, у них была своя собственная история, такая же тягостная, такая же ничтожная, как и моя, такая же непостижимая для других, такая же невыносимая.

Первые три месяца анализа я прожила, думая, что у меня всего лишь передышка, что все это долго не продлится, что меня обнаружат и отправят назад. Но кровь текла лишь тогда, когда положено, в менструальные дни. Тревога начинала смягчаться, все чаще отпускала меня. Но я по-прежнему не говорила о галлюцинации, ибо опасалась, что она неизбежно приговорит меня к психиатрической больнице.

Я все еще сохраняла оборонительную позицию: втянутая в плечи голова, согнутая спина, сжатые кулаки; я пряталась внутри своих глаз, ушей, носа, кожи. Меня преследовало все вокруг, опасность появлялась со всех сторон. Я должна была как-то выходить из положения, чтобы видеть не видя, слышать не слыша, чувствовать не чувствуя. Для меня имела значение только борьба с тем Нечто, которое укоренилось в моей голове, с той грязной матроной, огромные ягодицы которой были полушариями моего мозга. Иногда она довольно крепко упиралась своим задом в мой череп (я чувствовала, как она садилась) и, свесив голову вниз, управляла моими нервами, сковывающими горло и живот и открывающими вентили пота. Она провоцировала циркуляцию ледяного воздуха, и тогда сумасшедшая пускалась бежать, истерзанная, полная галлюцинаций, неспособная кричать, говорить, хоть как-то выражать свои мысли, вся в холодном поту, дрожащая всем телом, пока не находила чистое и темное место, где сворачивалась клубком, как внутриутробный плод.

Все же, с тех пор как я начала анализ, сумасшедшая управляла мной все реже. Я наблюдала. Внутреннему Нечто совсем не нравилось, что я теперь смотрела на него извне, и через некоторое время ослабляло свои клещи. Оно оставалось на своем месте, но было грустным, усталым, как будто охваченным ностальгией по прекрасным дням своего возбуждения.

Понедельник, среда, пятница. Три остановки в постоянном беге, когда я могла принести свой «урожай» и с кем-то пообщаться. Это были мои единственные точки соприкосновения с жизнью остальных. Большой интервал между пятницей и понедельником каждый раз казался мне непереносимым. На протяжении всего воскресенья я ждала, экономя свои силы, щадя себя, насколько это было возможно. В понедельник я вновь возвращалась в мой разбухший от воды глухой переулочек и делала это с огромной радостью, с глубокой надеждой.

Сначала я говорила о моих первых встречах с внутренним Нечто, которое тогда называлось просто тревогой. Затем я заговорила о главных составляющих моей жизни, о важных чертах моего существования, которые я хорошо знала.

Мой первый кризис тревоги случился на концерте Армстронга. Мне было девятнадцать или двадцать лет. Я приближалась к лицензиату по философии и искала преподавателя логики, который помог бы мне защитить диплом об Аристотеле. Мне нравились математические науки,

которые я привыкла называть общим термином «математика» с тем педантизмом, который был присущ студентам-философам. Особенно девушкам. Все мы знали, что процент допущенных к конкурсу на получение звания «агреже» был очень низким, меньше двух. Углубляться в учебу было равносильно тому, чтобы постричься в монахини, стать самой философией вместе со своими ногами, руками, волосами, до кончиков пальцев.

Словом, мне нравились математические науки, но в нашей семье считалось, что это не женское занятие. Девушка, изучающая математику, похоже, не имела шансов выйти замуж, а если имела, то разве что за профессора математики. Меня ожидали тяжелые дни. Но, изучая философию, я смогла бы выбрать для себя логику. «Ты могла бы изучать математические науки, но в литературной форме».

Так, я смогла бы заполучить хотя бы инженера, или морского офицера, или даже банкира, это все же было предпочтительнее, чем профессор математики! Итак, я начала писать работу для лицензиата по философии с целью изучить логику, ну, или, по крайней мере, с целью выйти замуж за инженера. Но логика совсем не была в моде, уже давно интерес вызывали психология, общественные науки... И я поглощала все эти предметы, думая тем не менее, что после того, как получу свидетельство об окончании учебы, напишу дипломную работу, а затем и диссертацию по логике. Я мечтала постичь очевидную строгость цифр, так как знала, что это предоставит свободу моему воображению, которую, на мой взгляд, цифры могли дать с лихвой. Моими кумирами, безусловно, были вначале Риман и Лобачевский, затем Эйнштейн. По «математическим причинам» мне нравились Бах и джаз, и в ту пору юности я с восторгом открыла для себя серийные музыкальные композиции и леттризм.

Итак, я была очень возбуждена, когда пришла на концерт Армстронга, тем более что организаторы обещали джем-сейшн.

Армстронгу предстояло импровизировать на трубе, создать целое музыкальное произведение, в котором каждая нота, важная сама по себе, сыграет свою роль во всем музыкальном вечере в целом. Я не разочаровалась, атмосфера накалилась очень быстро. Создавалась прекрасная композиция. Нагромождение и аркбутаны джазовых инструментов поддерживали трубу Армстронга, создавали надлежащее пространство, чтобы композиция поднималась, опускалась и затем вновь взлетала вверх. Звуки, которые издавали инструменты, порой ударялись друг о друга, смешивались, подталкивали друг друга, создавая музыкальный фундамент, своего рода матрицу, из которой струилась точная нота, та единственная, следование звуковой траектории которой почти вызывало боль, столь незаменимы и строги были ее равновесие и продолжительность; она сводила с ума тех, кто следовал за ней.

Сердце мое забилося очень быстро и очень громко. Забилося так, что стало важнее музыки. Оно трясло мою грудную клетку, раздувалось, давя на легкие, в которые воздух уже не проникал. И в панике, что я умру там от этих спазмов, этого трепетания среди этих криков толпы, я убежала. Я выскочила на улицу как сумасшедшая. Была прекрасная зимняя ночь, холодная, люди прятались в своих домах, в тепле. Я бежала, а звук моего бега отдавался топотом в трубах магистралей, проспектов и улочек. «Я умираю, я умираю, я умираю».

Сердце отбивало темп быстро, сильно, отчаянно. Я помню цветущую камелию, ослепительную, с полностью распустившимися лепестками в бетонной вазе на углу какой-то улицы, непосредственно перед тем как я оказалась в туннеле у медицинского факультета. В моей памяти осталась красота этих густых лакированных цветов!

Я бежала, цветы уже остались далеко позади, и все же сердцевина одного из них, которую я видела лишь долю секунды, оставалось со мной, сопровождала мой галоп. Это впечатление было настолько спонтанным, насколько я была взволнованна, и настолько целостным, насколько я рвалась на части. Туннель был безопасен благодаря освещению, благодаря тому, что использовался множеством автомобилей, проезжающим по нему. Они ехали легко,

пешеходы быстро двигались по тротуарам. В конце туннеля кокетливо блестела освещенная вывеска. Но ничто не могло успокоить мое сердце, и я продолжала бежать.

Добравшись до дома, вместо того чтобы сесть в лифт, я быстро взбежала по лестнице до пятого этажа, и только там перед дверью, отдав себе отчет, какую нагрузку я выдержала, я сказала себе: «Если бы у меня было больное сердце, я умерла бы, не сделав и десятой доли того, что сделала». Это рассуждение не успокоило меня. Я вошла в комнату и рухнула на кровать, чтобы унять одышку. Я была одна, с закрытыми глазами, ничто вокруг не имело значения, только мое сердце, которое колотилось и прыгало: «Я умру, я сердечница». А тревога, с которой я тогда встретилась впервые, полностью завладела мной, покрыла меня ледяным потом, охватила мои мышцы гротескной тряской, она, подлая, смеялась надо мной. Я позвала мать, которая спала в соседней комнате. Один раз, два. Уже не помню, сколько раз я ее звала, все громче и громче: «Мама, мама, мама!». Она вошла в мою комнату, неряшливо одетая, с отеком от сна лицом. Ее шиньон распустился, растрепанные каштановые волосы спадали на плечи длинными зигзагообразными прядями. Я думала, что зрелище, которое она увидит, произведет взрыв, вызовет ужас в ее зеленых глазах, что она утонет в моем собственном страхе и составит мне там компанию: ее дочь в агонии, ее дочь умирает – в прямом смысле этого слова. Вместо всего этого она поправила свою одежду и прическу. Сочувственно посмотрела на меня, села на кровать, взяла мою руку в свою и так и осталась. У нее был такой вид, как тогда, когда она посещала кладбище, печально умиленная, удивительно удовлетворенная. «Это просто тревога, чепуха, не пугайся, ничего страшного, это нервное».

Мне не нравилось ее спокойствие, ее убежденность, ее смирение. Как могло быть чепухой то, что переживала я? Как могла быть чепухой обрушившаяся на меня волна липкой ядовитой жидкости, набитая жалами ядовитых змей, какими-то остриями, разлагающейся материей? Эта «чепуха» была, наоборот, чем-то очень существенным, я была уверена в этом, и, видя, что она относится к этому, как к мертвым на кладбище, я еще больше встревожилась. Я задыхалась. Воздух не проникал более в мои легкие, то небольшое, что мне удавалось вдохнуть, издавало пронзительный, смешной звук.

– Я задыхаюсь, я умираю.

– Что ты, что ты, это нервное. Твой пульс учащен, но он ровный. Поверь мне, ты не умрешь.

Мне не нравились такие взаимоотношения. Я так искала ее нежности, ее внимания, столько ждала этого взгляда, который сейчас мягко скользил по моему лицу, моим темным глазам, кудрявым волосам, носу в форме картошки, рту, подбородку, а также моим широким плечам и крепкому телу. Она как будто знакомилась со мной и в то же время узнавала меня. Печальная и нежная встреча. Но я хотела не этого, не в такой ситуации. Этот взгляд я хотела бы почувствовать всем своим существом тогда, когда я ныряла, когда я бегала, когда я смеялась, когда устаивалась лавровых веночков, мне хотелось, чтобы она гордилась мной. В ней должна была быть моя сила, а не недомогание и страх. Из того теплого внимания, из того «сговора», из той интимности, которые она дарила мне в ту ночь, я заключила, что в момент моего рождения она даровала мне смерть и что именно смерть, как ей хотелось бы, я должна была ей вернуть, что связь между нами, связь, которую я так долго искала, была – смерть. И это вызвало у меня ужас.

Дни после кризиса, хотя и были спокойными, тянулись, смешавшись с тревогой, с воспоминанием о ней, с наваждением увидеть, как она возвращается ко мне вновь. В сопровождении матери я побывала на консультации у одного врача. Он подтвердил то, что диагностировала она: «Это ничего, что-то связанное с нервами. У вас небольшая тахикардия. Можно с уверенностью сказать, что вы страдаете легкой формой аэрофагии». «Небольшая», «легкая». Какие ничтожные словечки! Но что могло быть хуже, чем то, что я перенесла? Можно ли вытерпеть большее? Существует ли более мучительное человеческое переживание? Они стали говорить

о тяжелых случаях тахикардии и аэрофагии, встречавшихся в их медицинской практике. У меня пустяк по сравнению с теми несчастными. Они смотрели на меня с теплой иронией, легко похлопывали меня ладонью по щеке и по рукам: «Ничего нет, ей богу, вы молоды и здоровы». Доктор открылся мне, что он и сам изредка страдал аэрофагией, и поделился тем, что он предпринимал, чтобы быстрее от нее избавляться. Даже продемонстрировал это. Надо было сесть на четвереньки, легко приподнять одну или другую ногу в зависимости от того, что ты чувствовал, – что-то вроде собачки, справляющей малую нужду у фонаря. Цель была – вызвать выход газов, которые в слишком большом количестве давили на диафрагму и провоцировали ощущение удушья.

Они сыпали своими дружелюбными комментариями, расплывались в улыбках и украшали свои фразы словами «молодость», «любовь», «замужество». Я прекрасно понимала, что они хотели этим сказать, и стыдливо опускала глаза, пусть говорят.

Я думала, что пройденное мною в университете по психологии, особенно по психоанализу, а также два года физиологии нервной системы (в институте прикладной психологии) позволяли мне идентифицировать, позиционировать и понять себя. Я осознавала, что очень страдала из-за развода родителей, которые, по моим воспоминаниям, страшно ругались, пока отец не умер. Мне было известно, что бессознательно моя мать всегда укоряла меня в том, что я родилась. (Я действительно родилась, когда бракоразводный процесс шел полным ходом.) Я понимала, что по этой причине я совсем не знала своего отца. Мне было понятно, что их споры вызвали во мне такие осложнения, из-за которых моя сексуальность сильно пострадала. Я думала, что еще узнаю, почему и как она пострадала. Пока же я предпочитала оставаться целомудренной.

Несколько месяцев та моя первая тревога оставалась единственной. Затем последовала еще одна, более легкая, в ночь, когда я потеряла девственность.

Когда я увидела голого парня в состоянии возбуждения, когда я почувствовала в своей руке его орган, нежный, как шелк, теплый, как хлеб, только что вынутый из печи, меня обуяла неслыханная радость. Я была гордой и счастливой, что нахожусь с ним. Тонкое тело молодого человека показалось мне красивым до слез, как будто его мускулы, кожа, волосы – все было создано для того, чтобы его член эрегировал. Когда он раздвинул мои ноги и, стоя между ними на коленях, начал тихонечко лишать меня девственности, упрямо, с видом, которым давал мне понять, что ничто его не остановит, что я должна подчиниться его воле, я посчитала, что он делает что-то полезное, необходимое, в совершенной гармонии с чем-то в глубине меня. На минутку мне стало досадно за себя, что столько времени я держала взаперти эти глубокие движения бедер, которые он стимулировал, эти волнообразные движения, идущие от пяток до головы. Ничто меня не шокировало, ничто не удивило. Даже тогда, когда его ритм стал грубым и я почувствовала, как во мне порвалась какая-то будто тканая преграда. Больше всего меня поразила потом его нежность, слабость, хрупкость, как будто всю свою силу он подарил мне. Я почувствовала благодарность к нему.

Я не испытала ни особенного удовольствия, ни отвращения, наоборот. Когда я осталась одна, то постирала постельное белье, запачканное кровью. Было тепло, оно быстро высохло. Я легла прямо на матрац, в темноте. Уснуть было невозможно. Этого парня я выбрала из-за его искусности, он слыл соблазнителем, хорошим любовником. Я знала, что он влюблен в замужнюю женщину старше меня. Он был мне симпатичен, я чувствовала, что он может сделать «это». Он со всей серьезностью согласился сыграть роль инициатора. Миссия ему удалась, ибо я лежала рядом с ним довольная, уверенная, что, если пожелаю, займусь с ним любовью и на следующий день.

И все же сердце мое колотилось, я задыхалась. Я знала, какое значение имел мой поступок, я знала, что, поступая так, всколыхну весь свой маленький океан, могла разразиться даже буря. Мне было больше двадцати лет. До того момента я не только оставалась девственницей,

но даже никогда ни с кем не флиртвала. (За исключением одного поцелуя накануне моего четырнадцатилетия, подаренного мне однажды в солнечный день, когда я лежала с запрокинутой головой на песке, – поцелуя, длившегося ровно столько, чтобы я смогла ощутить приятную слюну с привкусом «Голуаз». Маленькое воспоминание, спрятанное, подобно высохшему цветку, между страницами толстой книги.) Если я и вела себя так, то только для того, чтобы подчиниться правилам матери. Я отказалась даже от мастурбации. И часто проводила послеобеденные часы отдыха и ужасные ночи, лежа на животе, на холодном полу в моей комнате, избегая удовольствия кровати, избегая запаха чабреца, жасмина и пыли Средиземноморья, избегая возбуждающей стрекотни кузнечиков, нежных звуков арабской флейты, такая напряженная, что хотелось выть о своем желании, о своей потребности.

И вдруг неожиданно я решила сама перешагнуть через принципы своего окружения, через семейные предрассудки, через законы матери, нарушить запреты религии и заняться любовью с парнем, которого даже не любила, с которым не нужно было искать ни оправдания страсти ни оправдания рассудительности. Я просто пожелала заняться любовью и сделала это, потому что мне этого хотелось.

Как только появилась тревога, я сразу же ее опознала. Но тогда ее присутствие показалось нормальным и не очень меня озаботило. Я прекрасно знала, что вхожу в мир секса через неподобающую дверь, я ступила на путь тех женщин, которых принимал мой отец, я примкнула к их постыдной когорте. Мать обзывала их «бабенками», а воспоминание о вульгарности этого слова в ее произношении бросало меня в дрожь. Вскользь мне приходилось наблюдать за некоторыми из них какое-то время назад. Они выходили, как только я появлялась. Отец делал вид, что провожает их после обычного визита. Принужденно улыбался и делал слишком галантные жесты. Он умел контролировать себя. Что касается их, то, уходя, они как-то по-особенному двигали бедрами, говорили «до свидания», бросали ему многозначительные взгляды. Каждый раз я чувствовала безумную близость между ними и отцом, пугающее соучастие, следы невиданного удовольствия. Это меня волновало. Любовницы отца издевались над матерью, стоящей на коленях на скамеечке для молитвы. Ее добродетель... их порок... мой порок... ангел, дьявол. Все это присутствовало в ту ночь, мешая мне заснуть, но было и еще нечто, не знаю, что именно, сжимающее мне сердце, заставляющее его колотиться.

Окна моей комнаты выходили на улочку, где открылась фирма по аренде экипажей с лошадьми. Это было летнее помещение, не проветриваемое, отдающее плесенью, темное. Рано утром приходил человек и выстраивал животных вдоль тротуара, заводя их в оглобли старомодных экипажей, которые затем должны были возить туристов под пальмами вдоль морского проспекта. Я вспоминаю, как свет зари делил полосы жалюзи сначала на серые и черные, потом на желтые и черные. Копыта лошадей ударяли о мостовую, их удары становились все дробнее по мере того, как наступала жара, и мухи возобновляли свою дневную атаку. Запах свежего навоза доходил до меня. С бессонными ночами покончено. Я еще раз поправила кровать с чистым бельем. Ничего не видела, ничего не знаю – я ничего не хотела знать о причинах, по которым я его постирала. Я вышла и пошла на пляж, где песок уже нагрелся. Достаточно было лишь чуточку погрузить в него ноги, чтобы ощутить прохладу и влажность еще одной столь близкой ночи.

Все последующие годы (около десяти) сопровождалась медленным вынашиванием безумия. По-видимому, я не осознавала этого. Просто мне все меньше хотелось двигаться, говорить, заниматься чем-нибудь или думать. Чем больше я старалась найти свой собственный путь, тем больше я теряла надежду, что найду его там, где он был мне предназначен по рождению. Я становилась тяжеловесной, неотесанной, переживала моменты тревоги, которую называли моей «пылкостью». Меня, однако, считали разумной и уравновешенной. В тот период я сдала экзамены, окунулась в сексуальную жизнь так, как окунаешься в воду, думая, что она холодная. Она не оказалась холодной, но я не дала себе воли плавать в ней, руководствуясь

лишь собственной фантазией. Я вышла замуж. Преподавала в лицеях. Родила трех детей. Мне хотелось дать им счастье, тепло, внимание – все то, чего я никогда не имела, – любящего отца и любящую мать, которые всегда рядом с ними.

Вместо всего этого с каждым днем во мне больше и больше пускали корни медлительность, вязкость и абсурдность самого факта моего существования, пока все это не превратилось во внутреннее Нечто.

IV

Первая парижская зима. Блеклое солнце. Голые деревья. И, как повторяющийся припев, неотвратимые походы в глухой переулочек. В расплывчатый туман, в пустынный холод, в монотонный дождь, в серые облака. Но там я наслаждаюсь теплом, грохотом белых улиц – отзвуками детства, взрывом юности. Меня сопровождает множество фантомов. По пропитанному водой переулочку за мной бегут воспоминания, четкие, живые, трогательные, совсем незначительные. Они проникают к кушетке, проезжают там, как на параде, на карнавальных колесницах.

В моей юности не было ни одного мужчины. Обо мне заботились женщины: мать, бабушка, служанки, добрые учительницы-монахини.

Об отце, которого я знала слишком мало, так как он жил отдельно и умер, когда я была подростком, я сохранила память как о щеголе, носящем гетры, шляпу и трость. Короткие усы, красивые руки, ослепительная улыбка. Он наводил на меня страх. Я ничего не знала о мире, в котором живут мужчины. У него дома была ванная, в которой на полке лежала бритва с помазком, была комната, в которой стоял шкаф с выдвижными ящиками, где он держал рубашки и запонки для манжет, – все это притягивало и тревожило меня. Мое особое внимание приковывала к себе просторная кровать холостяка, покрытая шкурами пантер.

Он называл меня «мой маленький волчонок». Считал меня скорее маленькой женщиной, нежели девочкой, и это смущало меня.

В детстве я приходила к нему в сопровождении гувернантки. Затем несколько раз приходила одна – на обед между утренними и послеполуденными занятиями. Мне было не по себе на этих обедах. Когда он не внушал мне страха, он наводил на меня скуку. Я все время должна была следить за своими движениями, за своими словами. Он часто делал мне замечания, и я понимала, что своими упреками мне он хотел ранить мать – мать, которая растила меня, одевала, воспитывала. Но я чувствовала, что он любит меня и не желает причинить мне зла.

Отец придавал большое значение моей учебе. Говорил, что я должна учить все: латынь, греческий, математику, все... Я никогда не показывала ему ни дневник, в котором преобладали хорошие оценки, ни тетради. Поступая так, я знала, что защищаю свою мать, которая обладала исключительным правом контроля, так я становилась на ее сторону. Мой портфель была закрыт для отца, он был моим сейфом, сокровищем, самой большой ценностью. Таким образом, я держала своего отца на расстоянии, запрещала ему вход в собственный мир. Я это делала осознанно.

Я видела своих родителей вместе всего трижды. Впервые – по поводу праздника моего первого причастия. Они находились в одном помещении, за одним столом, но не рядом. В тот день нежность отца смущала меня. Я бы предпочла, чтобы только мать нацеливала на меня свой строгий взор, когда я резала огромный торт со множеством слоев из орехов и крема. Думаю, тогда я справилась бы с этим лучше.

Второй раз, когда мне было двенадцать лет, они встретились на церемонии французского скаутского движения. Событие происходило на свежем воздухе, присутствовали и другие родители. Мои родители стояли рядом и не разговаривали друг с другом – следили за церемонией. Я вспоминаю, что в тот день было ясное осеннее небо.

Третий раз – это было к концу его жизни – мне было почти пятнадцать лет. Он страдал кровохарканьем, думал, что умирает, и позвал мать.

Туберкулез! Грозный монстр моего детства. Дед скончался от чахотки, дядя жил в санатории, моя сестра умерла в одиннадцать месяцев от туберкулезного менингита, у брата были положительные пробы на туберкулез, что вело к сколиозу.

БЦЖ, бацилла Коха, торакопластика, пневмоторакс, френисектомия, каверна, плевра, мокрота, Лейзин, рентген, вакцина, Кальметт и Герен. Все эти слова, все эти несчастья – из-за отца, из-за его болезни, его сгнивших от газов войны 1914 года легких.

– Мог бы лучше следить за собой, перед тем как жениться на мне. Даже не предупредил. Стыдно, неприлично.

Война, траншеи, отец – под грудой задохнувшихся солдат. Он избежал смерти только благодаря толщине пласта трупов, но остался с изъеденными легкими.

– Я видела его рентгеновские снимки, у него легкие просто как губка.

Я всегда должна была соблюдать меры предосторожности, когда приходила к нему и когда уходила от него!

– Не разрешай ему слишком долго тебя обнимать. Никогда не пользуйся его носовыми платками. Возьми бутылочку с девяностоградусным спиртом и вату. Протри себя, когда выйдешь. Хоть ей и сделали БЦЖ, но у девочки нет положительной кожной реакции, непонятно почему, это ненормально. Я уже потеряла одну, хватит.

Микробы. Тревожное присутствие микробов.

– Это очень маленькие, невидимые животные. Они повсюду. Каждый раз, когда твой отец кашляет, он распространяет их вокруг себя, таких опасных. Послушай и поверь мне, ведь твоя сестра умерла от них. Старайся поменьше находиться рядом с ним.

Итак, я увидела их вместе в третий раз.

Он позвал мать по телефону: «Приходи, прошу тебя. Приходи, это конец».

Мать положила трубку, затем заявила, что он притворяется, и взяла меня с собой. Зачем? Чтобы защищаться?

Он лежал в своей большой кровати, с тазиком под подбородком, кругом разбросанные полотенца, розовая пена в углах губ. Я никогда не видела его в кровати, никогда не видела его в пижаме. Постельное белье и подушки, измятые после ночи, маленькие детали, выдающие его пристрастия, смущали меня. Он начал говорить с матерью, сказав ей, что любит ее. Она отвергла его слова: «Ты смешон, думай, что говоришь. Опомнись, ты говоришь в присутствии ребенка».

Я вышла в коридор, потом в переднюю и в конце концов на площадку. Села на ступеньку лестницы, закрывая уши руками, лишь бы не слышать, о чем они говорят. Она была такой строгой, он был таким жалким!

Стараясь отогнать от себя все, что только что слышала и видела, я сидела, устремив свой взор на лифт. Я отлично знала эту почти военную машину. Она интриговала меня. Мне казалось, что в ней я в опасности, и все же не боялась ее. Это был тяжеловесный короб, закрытый неподатливой металлической гармошкой. Когда лифт вызывали, громоздившиеся над его потолком кабели распрямлялись, ударяя по воздуху, и начинали с пыhtением и вздрагиваниями поднимать кабину, в то время как в нижней части солидная стальная, круглая колонна, смазанная черным маслом, прилагала все усилия к тому, чтобы толкать кабину вверх. Точный, равномерный подъем этого прекрасного смазанного ствола казался абсолютно несовместимым с тряским шумом в кабине.

Эта машина охраняла дом моего отца и превращала его в труднодоступную территорию, немного опасную. Я знала машину очень хорошо, за исключением глубины той дыры, куда погружалась стальная колонна. Иногда мне казалось, что дыра, скорее всего, неглубокая, и эта колонна скручивалась внутрь, как пружина.

Мне даже однажды пришлось пописать в этом лифте, так как в доме отца я не отваживалась попроситься в туалет. Так, однажды, не в состоянии сдержаться, зная, что только через два часа я доберусь до турецкой уборной школы, я справила нужду в старом коробе лифта. Это облегчение доставило бы мне удовольствие, если бы тряска и вздрагивания машины не

помешали мне попасть, куда надо, так что я здорово намочила туфли. Чтобы можно было действовать спокойно, я остановила лифт между вторым и третьим этажами. Но, о ужас, моя струя проникла через поредевший коврик, попала на пол и каскадом капель непрерывно падала на металлическую пластину, тесно сжимающую стальную колонну на первом этаже. Услышав первый звук этого дождя, я быстро нажала на кнопку пятого этажа, но уже не могла остановиться. Напуганная, стыдясь своего неприличного поступка, я слушала, как шумит поток. Когда я пришла к отцу, то была вся мокрая.

Та девочка, тот лифт... Как далеко все это! Тот разговор между теми мужчиной и женщиной изменил все. Впервые я видела их действительно вместе. Я отчетливо поняла, что являюсь их совместным плодом, плодом их убогого желания, их убогой враждебности. Я мигом прибавила в возрасте. Неожиданно все оказалось в далеком прошлом.

Мне казалось, что для оценки моего ушедшего в прошлое детства нужна была другая шкала. Понадобилось бы голубое весеннее или осеннее небо, веселое волнистое море, цветы, запахи. Я по глупости думала, что во взрослую меня превратят первая любовь, первый поцелуй. Но нет, это сделал как раз тот самый разговор между двумя чужими людьми, являвшимися моими родителями. Была кровь, которой харкал отец, была угрюмость матери и лестничная клетка, становящаяся все темнее, так как день заканчивался, а в Алжире закат наступает рано.

Когда я уже полностью погрузилась в свои думы, явилась мать, выглядящая как ни в чем не бывало, правда, немного взволнованная. «А-аа! Ты здесь. А я тебя повсюду ищу. Что ты делаешь на лестнице? Кто-нибудь тебя видел? Пойдем, он чувствует себя прекрасно. Капризничает, как всегда. Все, больше я к нему на удочку не попадусь. Какой комичный спектакль!»

Я знала, что он не умрет. Я знала, что она будет нервничать. Я понимала, что в этой истории меня просто водили за нос.

И потом, спустя несколько месяцев, я еще раз увидела их вместе, но на этот, четвертый, раз он был мертв.

День, когда я узнала, что он умер, был летним, жарким. После обеда я была со своими друзьями: группа подростков собралась в тени внутреннего дворика. Мы ждали, чтобы стало прохладнее и мы смогли бы играть. Я только что получила разрешение не ложиться после обеда, так что, когда я увидела мать в это время и на этом месте, во мне сработал старый защитный рефлекс. В мгновение ока весь хорошо отработанный арсенал извинений, объяснений, лжи оказался в моем распоряжении. Механизм детской хитрости не заржавел. Так что, когда она, в парадной одежде, со странным лицом, как вкопанная остановилась передо мной и неуклюже, скованно взглянула на меня, а затем жалобно сказала: «Твой отец только что умер, иди одеваться, ты должна вернуться со мной в город», – я успокоилась. Я увидела прекрасное небо, ослепительное море, сочные растения с их расходящимися, как лучи, розовыми и желтыми цветами, одним словом, я почувствовала облегчение. Она пришла не для того, чтобы лишить меня всего этого, а заодно и друзей, игр. Ведь все остальное не касалось моей собственной жизни. Впрочем, к чему этот печальный тон по поводу смерти отца, о котором она никогда не сказала доброго слова? Потому что он умер и смерть сделала его маленьким, несчастным, трогательным? Для меня он оставался тем же незнакомцем, холостяком, скучным, немного страшным и застенчивым в своих неуклюжих попытках обнять меня: «Поцелуй меня, мой маленький волчонок!». Обычно мать называла его по фамилии: «Скажешь Драпо, что алименты все еще не пришли», «Скажи Драпо, чтобы купил тебе туфли», – и все в таком духе. Сейчас она говорила «твой отец», как будто он все еще был ее мужем, как будто они составляли пару. Можно было подумать, что смерть теперь объединяла их, делала их семьей. Для меня это было невообразимо, фальшиво, казалось чем-то нездоровым, не знаю почему. Я не осмеливалась посмотреть на нее и сгорала от нетерпения в ожидании, что она уйдет.

Она же не двигалась с места. Я подумала: «Если к тому же еще начнет плакать, я убегу». Нет, она не плакала, она была взволнована, ждала от меня ответа. «Мы должны вернуться в город, чтобы сделать все приготовления».

Маши на дороге в разгар лета, в послеобеденное время, было мало. На полях – ни души. Мимо проносились ряды виноградников, аллеи эвкалиптов, вереницы морских сосен, тростниковые заборы, колючие алоэ, возносящие свои длинные цветущие стволы к белому небу, западноафриканские фиговые деревья, украшенные плодами, а на склоне гор, простирающихся вдоль горизонта, – прямоугольники кипарисов, окружающих апельсиновые сады. В заднее стекло я видела поднимающуюся вслед за нами красную пыль, кружившую так высоко и так далеко, что она застилала собой весь пейзаж.

Чтобы эта пыль не задушила нас, мы закрыли окна. Стояла страшная жара. Кто вел машину? Не знаю. Никак не вспомню. Во всяком случае кто-то, кто хранил молчание.

Мы словно находились в воронке смерча. Машина издавала грохот и двигалась на большой скорости, пыль сопровождала нас озорным вихрем, вокруг были поля, утомленные жарой, казавшиеся окаменевшими в дрожи раскаленного воздуха.

Мать заговорила:

– Я лишь сейчас получила телеграмму, спустя восемь дней, на почте была забастовка. Так что тело твоего отца привезут сегодня после обеда. Ничего не готово. Можно было бы нанять катафалк со свечами. На причале есть такой, очень солидный. Но нас оповестили слишком поздно. Надо привести дом в порядок. Я смогла добиться в похоронном бюро, чтобы они поехали за телом Мориса и подняли его на пятый этаж, хотя час уже поздний. Ведь гробы выгружают только после того, как выйдут пассажиры, как разгрузят товар, в самом конце! Будет поздно... Как нехорошо!

Что бы это значило: «тело твоего отца», «гроб Мориса», «катафалк со свечами», «похоронное бюро»? И, прежде всего, что должно означать «тело Мориса»? И потом то, что она называла домом, было его домом, а не ее и не моим. Это был дом мужчины, где он проживал рядом со своими трофеями, с коллекцией черных масок, с ружьями, бритвой и с той большой кроватью, покрытой шкурами пантер. С той большой кроватью, о которой я знала, что в ней он резвился со своими «бабенками», как называла их мать.

В доме был неописуемый беспорядок. Из гостиной была вынесена вся мебель: «Чтобы можно было поставить гроб». Такой большой гроб?

– Церковь Сен-Шарль должна прислать нам скамеечки для молитвы.

– Скамеечки для молитвы здесь!

Так близко к большой кровати, так близко к бритвам, к ружьям?

– Мы поставили раскладные кровати в задних комнатах.

– Раскладные кровати? Для кого?

– Как для кого, для семьи, конечно. Бдение будет продолжаться всю ночь.

Семья? Но у него не было семьи, он был один. То, что мать называла семьей, была ее собственная семья, та, которая столько времени гнобила его. Эта семья должна прибыть сюда? Мне казалось, что это непристойно. Он никогда их не видел. И никогда не желал, чтобы они переступали порог его дома. Он много раз говорил мне, что это скорее они, чем мать, разрушили его семейную жизнь.

Коридоры и остальные комнаты были набиты мебелью из гостиной и столовой. Квартира превратилась в своего рода библейский Капернаум, где готовились встречать горожан, идущих чередой, так как отец был видной фигурой. Везде царила торжественно-траурная беготня, с легкими складками черного крепа, с аметистовым сиянием, с блеском слез, с криками соек. Затем открыли входные створчатые двери. Люди стали говорить шепотом, ходить на цыпочках. Стены были задрапированы тканью холодного оттенка, специально подготовленной для мрачного светского приема. Пахло воском, везде стояли цветы. Из столовой и из кухни доносился

приятный запах подобающей случаю еды. Готовилась закуска для тех, кто проведет ночь при покойнике.

С площадки я следила за служащими похоронного бюро, которые вносили гроб отца, тяжелый дубовый предмет с бронзовыми ручками по краям и с бронзовым крестом сверху. Черные люди деловито покачивались, их было много, пыхтя, они подсказывали друг другу движения, которые нужно было совершить при обходе крутых изгибов лестницы. Им мешали роскошные заграждения с украшениями в виде листьев аканта и спиралевидных орнаментов, стойки из кованого железа, окружающие старый тяжеловесный лифт, на сей раз бесполезный, так как он был не в состоянии поднять вместилище даже такого хрупкого усопшего: его дно, через которое моя моча протекла так легко, не выдержало бы.

Они поднимались очень долго. Пять нескончаемых этажей. Ящик, и отец внутри, как в упаковке. Наконец, гроб поставили на козлы, задрапированные черной тканью. Мать, с торжественным видом, очень деловая, умело отдавала приказания. Она указала мне мое место: отдельная скамеечка для молитвы, впереди остальных. Приносили цветы, венки, букеты. Так как было лето, они были составлены главным образом из цинний – суховатых цветов без запаха, прекрасных расцветок: сиреневые, охряные, цвета золотого кармина. Я стояла на коленях, сучая в этом безмолвном положении. Меня научили не смотреть вслед людям на улице или в церкви, и я не позволяла себе заглядываться на тех, кто едва заметно заходил и выходил из комнаты. Ковры и спущенные занавеси поглощали шум, оставались лишь шуршания, неуловимые движения, легкие столкновения скамеечек для молитвы и невнятные всхлипывания.

Так как я должна была там стоять, я стояла. Мои мысли были о другом: о пляже, откуда меня забрали, о моих друзьях. Какую мину сделали бы они, лицезрея меня одетой в черное, в этот цвет взрослых? Я почти задремала, стараясь поддерживать голову ладонями и упираясь локтями в скамеечку.

По комнате распространился запах листвы, будто его принесло тепло ночи и пламя толстых свечек. Вместе с благоуханием зелени, в котором я узнавала аромат кипарисов, аспарагуса, бузины, деревьев и растений, из которых составлялись основы венков, чувствовался и другой запах, пресный, тошнотворный. Я пыталась его распознать. Он не мог исходить от цинний, эти цветы подсохли и в худшем случае могли отдавать пылью. Тот запах был другим, он исходил не от растений. Меня охватила тревога, нечто, что я не могла определить. Запах застоявшейся воды, болота? Да, но не совсем. Не такой яркий, не такой определенный. Интимный, смущающий запах. Незнакомый человеческий запах.

Мать подошла ко мне. Положив руку на мое плечо, она наклонилась, чтобы поговорить со мной шепотом, прижимая свое лицо к моей щеке.

– Ты хорошо себя чувствуешь?

– Хорошо. Тебе не кажется, что как-то странно пахнет?

Ее рука еще сильнее надавила на мое плечо, практически сжала его и придала ему какие-то качающие движения, как бы убаюкивая меня.

– Прошло уже много дней, как он умер. При такой жаре! И потом гроб наверняка ударили во время транспортировки, видно, где-то образовалась щелочка. Я уже сказала об этом господам из похоронного бюро. Они все уладят, не волнуйся.

Воноваться? Из-за чего? Из-за того, что я почувствовала, как отец гниет? Ведь это был запах разлагающейся плоти!

Мой отец, весь разодетый, в гетрах, с тростью, надушенный, со своими идеальными ногтями, белыми зубами, в своих начищенных до блеска туфлях, – мой отец был готов разложиться, подобно тем трупам, которые через несколько дней после бури море выбрасывает на песок и которые своей вонью привлекают больших синих мух. Из его лакированных туфель, из его манжет и накрахмаленного воротничка, из его брюк с безупречной складкой выходили наружу соки смерти. Мой отец вонял, мой отец кишел червями! Это было невыносимо. Я

вышла, побежала в самую дальнюю комнату и бросилась на только что разостланную кровать, на пахнущие средством для стирки простыни, лицом вниз. Уткнув голову в подушку, я плакала, я рыдала. Чтобы изгнать мертвечину, я воскрешала в памяти живые образы, смех и порывы радости, летнее небо, тихие полуденные волны, кувырканье в траве и мальчика, в которого я была влюблена, обнимающего и целующего меня. Я глотала его приятную слюну, сохранявшую вкус папиросы и зубной пасты. Я уснула.

Первый и последний раз я спала у отца, рядом с ним.

С той поры – одиночество.

Я не знала этого человека, я видела его лишь изредка. И все же он был вопреки моей воле моим единственным союзником. Я никогда не была зависима от него, а сейчас я должна жить без него, это была огромная необъяснимая пустота. Нечто тонкое, неясное исчезло навсегда. Сегодня я знаю, в чем состояла эта потеря: у меня больше не было уверенности, что я хоть кому-то нравлюсь такой, какая есть, и я лишилась его нежности. Даже тогда, когда он делал мне замечания, прибежал к строгому голосу, в его глазах были слезы, в его взгляде был поцелуй. Поцелуй, от которого я отказывалась, но который, можно с уверенностью сказать, там был.

С того времени мной иногда овладевало (овладевает и поныне) внезапное желание вскочить и бежать от радости, от счастливого порыва, от удовольствия быть любимой и защищенной и приютиться в объятиях моего отца. Он укачивал меня, легонько перекидывал справа налево. Мы танцевали то на одной, то на другой ноге в медленном и нежном ритме: «Ля-ля-ля, дочь моя, тебе хорошо в моих объятиях. Успокойся, моя большая девочка, отдохни». Если бы он был хоть чуточку выше меня ростом, я бы прильнула щекой к его груди. Какой у него был запах? Какой силой он обладал? Я этого не знала.

Для меня Отец – это абстрактное слово, без всякого смысла, потому что Отец ассоциируется с Матерью, а в моей жизни эти два существа сильно отличаются друг от друга, они далеки друг от друга, как две планеты, упорно движущиеся по разным траекториям неизменных орбит двух своих личных существований. Я обитала на планете Мать, и в определенные промежутки времени, очень редкие, мы пересекались с планетой Отец, окруженной нездоровым гало. Мне приказывали курсировать между этими двумя планетами, и как только я вновь попадала в царство матери, как только она возвращала меня к себе, казалось, она наращивала скорость, чтобы скорее отдалить меня от роковой планеты Отец.

Когда я сама, как все планеты, стала отдельной, но зависимой от других планетой и начала кружить по своей траектории по огромному голубовато-черному небу существования, я долгое время пыталась приблизиться к Отцу. Но, ничего о нем не зная, я отказалась от этих попыток, утомленная, но не удрученная. Я знаю, что ничего не знаю о родительской стороне мужчин, если она вообще существует.

В конце глухого переулка, когда я лежала на кушетке лицом вверх, с закрытыми глазами, чтобы лучше войти в контакт с чем-то забытым, закрытым, запрещенным, не имеющим определения, не до конца продуманным, мне хотелось вновь воскресить отца. Мне хотелось найти его, наконец. Я думаю, что его отсутствие, даже несуществование опасно ранило меня внутри, вызвало глубокую скрытую язву, из микробов которой позже возникнет моя болезнь. Итак, я старалась собрать воедино все свои воспоминания о нем, все, даже самые незначительные обрывки образа, самые скромные крупинки памяти.

В детстве и отрочестве ночами меня долго преследовали два кошмара. В первом я переживала сцену, имевшую место на самом деле в зоопарке в Венсенне. Чтобы мне лучше было видно львов и тигров, отец посадил меня на парапет над глубокой ямой, отделяющей хищных зверей от публики. Он крепко держал меня. На самом деле мне было очень страшно, но я не подавала виду. В моем кошмаре то, что меня тогда наяву только пугало, происходило на самом

деле: я проваливалась в яму и, задыхаясь от ужаса, просыпалась в тот момент, когда звери набрасывались на меня, как на добычу. Мне было шесть или семь лет.

Во втором кошмаре мне было меньше: два-три года от силы. (Иногда я фигурировала там младенцем в возрасте нескольких месяцев.) Я сидела на плечах отца, и мы вдвоем заблудились в заснеженном еловом лесу. Я никогда не видела снега, разве что на картинках. Снег казался мне исключительно красивым, но я думала, что для меня он запрещен и я не могу долго там оставаться. Но мы не находили дороги назад. Надвигалась буря, а мы кружили вокруг черных елей и не обнаруживали ничего, кроме других елей и снега, уже притоптанного нашими ногами. Отец держал меня руками за лодыжки, я чувствовала его теплую голову между ног. Он смеялся, не выказывая ни малейшего испуга. Что касается меня, я знала, что наступит ночь и мы окончательно потеряемся... и тогда я просыпалась, обливаясь потом.

Так я открыла, что Нечто было во мне с раннего детства, и отец ничего не мог поделать, чтобы избавить меня от него, – он ничего не мог сделать для меня. Для меня его «параметры» были такими, какие навязала мне мать, у него не было собственных «параметров». Для меня отец – это был незнакомец, который никогда не был частью моей жизни.

Иногда я рассматриваю несколько его фотографий, оставшихся у меня. Фотографиям, на которых он уже в конце своей жизни, такой, каким я его знала, – в галстук, лохотенный, ухоженный, я предпочитаю фотографии его в молодости, когда он еще не создал своего образа. С плохим характером, упрямый, гордый, в пятнадцать лет он сбежал из respectable дома своих родителей в Ля Рошели, в Париже устроился простым рабочим на стройку и поклялся вернуться домой только с дипломом инженера в кармане. Дипломом, который сам получит. На одной фотографии он – молодой рабочий, в грубых ботинках, слишком длинных и слишком широких брюках, завязанных, похоже, шнурком, в рубашке с засученными рукавами, расстегнутой на груди, со слегка поднятой головой, улыбающийся солнцу на фоне балок и бревен. В руках он держит букет полевых цветов львиный зев. Кому он собирался их подарить?

Он окончил вечерние курсы, сдал экзамены, выиграл конкурс. Продолжая жизнь рабочего, в конце концов стал дорожным инженером. Он очень любил рассказывать о том, как трудно было ему, сыну буржуа, вести утомительный образ жизни подмастерьев. Он расцарапывал себе спину, таская тяжести, а вечером, покончив с делами, рабочие собирались у костра, среди строительного мусора и железного лома, грели воду в больших тазах, выливали ее на него, чтобы он смог снять рубашку, которая из-за высохшей крови прилипла к плечам. Он говорил, что, смеясь, его называли «королевское отродье» из-за его красивых рук и нежной кожи. В нем осталась какая-то тоска по тому братству и той суровой жизни. Больше он уже никогда не стал настоящим буржуа. Это было видно по тому, как он брал в руки инструменты. Мать говорила: «Он не из нашей среды, только посмотри, как он ест». И правда, за столом он наклонялся над тарелкой, как будто прикрывал ее руками, и оценивал ее содержимое с большой серьезностью и удовлетворением. Пищей нельзя разбрасываться. Это ему было чуждо.

Я не помню, по какой случайности у меня дома в одном из ящиков стола сохранились его диплом инженера и свидетельство велосипедиста, а также водительские права и многочисленные справки от работодателей с рекомендациями – ученика, рабочего, мастера, затем инженера. Фотография того периода: на теннисном корте, в полном развороте тела. Чувствуется, что, отражая мяч, он совершает неверное движение. Тело натянуто от пяток до макушки, оно будто опирается на длинную ракетку. Вся его сила в правом запястье, левое плечо поднимает в воздух красивую мужскую руку, утонченную и сильную.

Это был период, когда он еще не был болен туберкулезом, когда он не знал мою мать. Разглядывая его красивые руки, его ослепительную улыбку, его тонкое и мускулистое тело, я думала, что он бы мне понравился.

Он никогда ничем не ранил меня, никогда ни за что не порицал, никогда не ущемлял, и, может, поэтому я никогда не желала иметь другого отца, кроме него.

Спустя несколько месяцев, когда я отважилась говорить о своей галлюцинации и обнаружила, что терроризирующий меня глаз – это был глаз отца. Я поняла, что не его я боялась, а скорее того аппарата, через который он смотрел на меня, и той ситуации, в которой я находилась. Об этом я поведаю позже.

V

Вот уже несколько месяцев, как анархии крови пришел конец. Я была так удивлена, что мне все время мерещилось, что она течет снова. Я продолжала свои обычные проверки. Нет, крови больше не было. Я испытала что-то вроде разгрузки.

Мне необходима была эта радость, которую давало мне отсутствие крови, – для того, чтобы иметь мужество продолжить борьбу против страха. В самые тяжелые минуты умопомрачения, когда обессиленная схваткой с внутренним Нечто я чувствовала искушение открыть ящик, в глубине которого лежали старые таблетки, спасавшие меня от него, я вспоминала о теплых и алых капельках, струящихся по моим ногам, о белье с темными пятнами, о больших сгустках, почти черных и мягких, о скрученных ватных тампонах с дурным запахом, которые я должна была все время менять, и это воспоминание придавало мне мужества бороться дальше. Кровь исчезла. Почему же не исчезало внутреннее Нечто?

Я подводила итог свершившемуся прогрессу. Прежде всего, кровь, и затем тот факт, что я была в состоянии видаться с доктором три раза в неделю, – и всего этого я достигла сама, брошенная в пучину города, внешнего мира, незнакомых людей. Мне было очень нелегко, я тщательно разрабатывала свой маршрут. Я делала остановки на определенных отрезках дороги: магазин, владельцы которого были мне знакомы, кафе с телефоном, темный закоулок, где я расслаблялась и где никто меня не видел, дом какого-то знакомого или просто дерево, казавшееся мне красивым, изгиб тихой улочки – все, что угодно. Если по той или иной причине я сбивалась с пути, меня тут же охватывала паника, оцепенение, меня покрывал пот, а сердце в своей клетке, стремясь выскочить наружу, стучало очень громко, как стучат в дверь глухие. Как бы то ни было, я приходила на сеансы вовремя, а ведь еще три месяца назад я бы с этим не справилась.

Теперь смерть заняла место крови. Она с большим комфортом обустроилась в моей голове.

Смерть в каком-то смысле была более пугающей, чем кровь. Она постоянно носила свои черные вуали, развешивая их по углам моих мыслей, делая их туманными, неясными, неуверенными. В ее руках постоянно сверкала коса, хорошо заточенная для того, чтобы косить все подряд, что только ей заблагорассудится, без объяснений. В ее распоряжении всегда были изящество, гибкость, тонкость, которыми она привлекала меня, так что иногда хотелось протянуть ей руку, чтобы она вывела меня на простор познания, света, покоя. Насколько я помнила, смерть всегда занимала значительное место в моей голове. Сейчас же, расположившись в «кресле», которое раньше занимала кровь, она становилась хозяйкой моего тела, даже самых незначительных его проявлений. Она все время была на месте. Каждую минуту она могла породить абсцесс, рак, зуб, язву, кисту, кровотечение, разложение, инфекцию. Она владела мной целиком, присутствовала в каждом подрагивании век, в каждом вдохе, в любом движении крови или мгновении пищеварения, в каждом глотании, в колыхании желудочков, в каплях слюны, в каждом миллиметре ногтя или волоска. Даже из-за жизни как таковой я боялась смерти. Перед ней я была похожа на водителя гоночного болида, на полной скорости бросающегося в самый крутой поворот. Меня не научили водить эту машину, я летала слишком быстро и не справлялась с виражами.

Почему смерть человеческих существ так абсурдна? К чему траур, спущенные флаги, тягостная музыка, слезы, церемонии, похоронное бюро, барабаны, покрытые вуалью, и этот черный цвет? Почему никто не говорит о червях, о бескровной коже, похожей на мрамор, о ногах, вытянувшихся, как палки, о запахе? Почему трупам закрывают рот и глаза, почему затыкают ватой задний проход? Почему не дать свободу телу в его мутациях, в его загадочных трудах? В чем состояла загадка? Да и существовала ли она вообще? К чему маски, грим? И эти

мертвецкие, где трупы то ли вяжут, то ли читают или чаще всего отдыхают, как будто ничего не случилось, в то время как любой знает, что внутри них незаметно идет подготовка к важному изменению материи, сползание от твердого к жидкому, переход жидкого в газ и прах – создание того гармоничного равновесия, который помогает лесам расти, ветру дуть, земле содрогаться, планете вертеться, солнцу греть. Почему им не разрешается участвовать в уравнивании сил, ритмов, приливов, течений? Я ничего не понимала, я была безумной.

Именно потому, что я была сумасшедшей, моему разуму не было подвластно ничто из того, что делали или хотели другие!

Я боялась других, боялась упасть, когда шла, на тротуар и стинуть в городской пыли. Я боялась отдать богу душу, лежа лицом к небу, которое видела бы над домами в последний раз, очень далеко, в то время как пешеходы останавливались бы на некотором расстоянии посмотреть, как умирает какая-то женщина. Между ними и мной был бы круг асфальта, полный плевков, окурков и собачьей мочи. Меня страшили их взгляды, смерть, которую они сулили и которую мне навязывало их присутствие и в которой я совсем не разбиралась. Я уже видела свое неподвижное, инертное тело, чуть согнутые ноги, распростертые руки, открытые глаза, устремленные в прекрасную бесконечность над кровлями, над птицами, над самолетами. Я была уже не в состоянии крикнуть им: «Не закрывайте мне глаза, не прикасайтесь ко мне, уходите, я не принадлежу вам!» Я была во власти их, их смерти, и это было страшно.

Страх одолевал меня постоянно. Такой огромный, напряженный, мучительный, что лишь безумие помогало мне справиться с ним. Страх достигал масштабов пароксизма так, что я могла бы взорваться и распылиться. Вместо этого я его терпела и терпела. Мне хотелось быть поверженной, убитой каким-нибудь электрошоком, уколом адреналина, ледяным душем. Я ненавидела доктора, который лишал меня этих средств, но к которому я бежала, не имея больше ни грамма воздуха в легких, ни капли крови в венах, ни одного мускула, никакой духовной силы, ничего, кроме инстинкта, быстро-быстро несущего мои кости и их облачение в самый конец глухого переулка.

Говорить, говорить, говорить, говорить.

«Говорите, говорите все, что вам приходит в голову, старайтесь ничего не выбирать, не раздумывать, не пытайтесь приводить фразы в порядок. Все имеет значение, каждое слово».

Это было единственное лекарство, которое он мне давал, и я пичкала себя им. Возможно, именно это и было оружием против внутреннего Нечто: эта словесная масса, этот словесный поток, этот словесный водоворот, этот словесный ураган! Слова передавали неуверенность, страх, непонимание, строгость, силу воли, порядок, закон, дисциплину, а также нежность, мягкость, любовь, тепло, свободу.

Слова были, как пазлы, подбирая которые я восстанавливала ясный образ маленькой девочки, сидящей в очень правильной позе за большим столом, руки по обе стороны тарелки, с выпрямленной спиной, которая не касалась спинки стула, одна перед усатым господином, который, улыбаясь, протягивал ей какой-то фрукт. Хрустальные солонки с серебряными крышечками, севрский сервиз, звонок, подвешенный к люстре, где на шарике из розового мрамора Коломбина и Пьеро ожидали, что их заставят обняться, и тогда в глубине дома раздастся звон колокольчика.

Слова заставляли меня вновь переживать эту сцену. Я снова была маленькой девочкой. Потом, когда образ исчезал, я, становясь опять тридцатилетней женщиной, спрашивала себя, откуда эта строгая поза, эти руки, сжимающие скатерть, эта прямая спина? Откуда эта неприязнь, это смущение в присутствии отца? Кто внушил мне все это и зачем? Я находилась на кушетке, с крепко сомкнутыми веками, стараясь еще немного удержать ту девочку. Я была одновременно и ею, и в то же время собой. И все становилось понятно. Я начинала видеть четко очерченные контуры властвования матери. Чтобы найти себя, надо было найти ее, раз-облачить, окунуться в тайны семьи и моего класса.

Я закрывала глаза и была маленькой девочкой, лежащей на своей кровати, гладко застелено белье, на стене у изголовья распятие. Я видела кукол, расставленных по росту. В камине угасало пламя, порождая в комнате будто сверкание жерла вулкана и рассеивая тени. Мой взгляд был направлен на закрытую дверь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.